В САМОЙ ГЛУБИНЕ

ДЭЙЗИ ДЖОНСОН

ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРА-2018



В самой глубине
Дэйзи Джонсон

Аннотация
Дэйзи Джонсон. В самой глубине
Один. За черным пнем
Два. Ночью все теряется
Три. Погода здесь скверная
Четыре. Тук-тук, волк
Пять. Мертвец идет по лесу
Шесть. Из речного мусора
Семь. Бонак
Восемь. Истоки
Благодарности

Аннотация

Для Гретель слова всегда были настолько важны, что в детстве она вместе с матерью даже изобрела язык, который стал их собственным. Теперь Гретель работает лексикографом, обновляя словарные статьи.

Она не видела мать с 16 лет, когда они жили в лодке на оксфордском канале. Воспоминания о прошлом, давно стершиеся, после одного телефонного звонка внезапно возвращаются: последняя зима на воде, загадочный сбежавший мальчик, странное неуловимое существо, живущее на реке.

«В самой глубине» – вызывающий дебютный роман с сюрреалистической, жуткой атмосферой. Он не оставит вас равнодушным.

Дэйзи Джонсон
В самой глубине

Моим бабушкам, Кристине и Сидар

Daisy Johnson
Everything Under

* * *

This edition is published by arrangement with Aitken Alexander Associates Ltd. and The Van Lear Agency LLC

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright: © Daisy Johnson, 2018

© Д. Шепелев, перевод на русский язык, 2019

© Оформление. ООО «Издательство

„Эксмо“», 2019

Один
За черным пнем

Родные места возвращаются к нам. Они приходят в виде мигрени, боли в животе, бессонницы. Из-за них мы иногда падаем во сне и просыпаемся, шаря в поисках выключателя прикроватной лампы, чувствуя, что все достигнутое нами пошло прахом. Мы становимся чужаками в родных местах. Они уже не признают нас, но мы всегда признаем их. Они наш остов; мы пронизаны ими. Если бы нас вывернули наизнанку, на нашей коже открылась бы дорожная карта. Чтобы мы могли вернуться. Только у меня под кожей обозначены не каналы, не рельсы и не лодка, а всегда одна лишь *ты*.

Коттедж

Мне трудно решить, даже теперь, с чего начать. Твоя память не линейна, а подобна массе перепутанных кругов, то уводящих вглубь, то отступающих. Временами я близка к насилию. Если бы ты была той женщиной, которую я знала шестнадцать лет назад, думаю, я бы так и сдела-

ла — выбила из тебя всю правду. Но теперь это невозможно. Ты слишком стара, чтобы можно было выбить из тебя хоть что-то. Воспоминания сверкают, как разбитые бокалы в темноте, — и вот их уже нет.

Твое слабоумие прогрессирует. Ты ищешь туфли, в которые обута. Ты смотришь на меня по пять-шесть раз на дню и спрашиваешь, кто я такая, или говоришь мне убираться: вон, вон. Ты хочешь знать, как оказалась здесь, в моем доме. Я говорю тебе снова и снова. Ты забываешь свое имя или где ванная. Чистое белье оказывается в кухонном буфете, вместе со столовыми приборами. Когда я открываю холодильник, там лежит мой ноутбук или телефон, или пульт от телевизора. Ты на крик зовешь меня среди ночи, а когда я прибегаю, ты спрашиваешь, зачем я пришла. Ты говоришь, что я не Гретель. *Моя дочь, Гретель, была прекрасной дикаркой. Ты не она.*

Иногда по утрам ты точно знаешь, кто мы такие. Ты выкладываешь на столешницу столько кухонной утвари, сколько уместится, и готовишь мировые завтраки — по четыре чесночинки во все подряд и как можно больше сыра. Ты раздаешь мне указания на моей же кухне, говоришь, что надо прибраться или вымыть окна, бога

ради. В такие дни твой распад не так очевиден. Ты забываешь противень в духовке, и оладьи подгорают, вода выливается из раковины на пол, а слова застревают в горле, так что ты отчаянно пытаешься выкашлять их. Я набираю ванну для тебя, и мы идем наверх, взявшись за руки. Это редкие моменты мира между нами, почти невыносимые.

Если бы я на самом деле заботилась о тебе, я бы определила тебя в приют ради твоего же блага. Занавески в цветочек, регулярное питание каждый день, компания тебе подобных. Старики — существа своеобразные. Если бы я все еще действительно любила тебя, я бы оставила тебя где ты была, а не привозила сюда, где дни пролетают так быстро, что о них едва ли стоит говорить, и где мы бесконечно раскапываем и ворошим то, чему лучше оставаться похороненным.

Случается, что в нашем разговоре проскальзывают прежние словечки, перед которыми мы беззащитны. Как будто совершенно ничего не изменилось, как будто время — ерунда. Мы вернулись в прошлое, и мне снова тринадцать лет, а ты моя ужасная, сказочная, кошмарная мать. Мы с тобой живем на лодке, на реке, и у нас есть такие слова, каких нет ни у кого. У нас свой соб-

ственный язык. Ты говоришь мне, что можешь слышать, как уекивает вода; я говорю тебе, что поблизости нет никакой реки, но я тоже, бывает, слышу это. Ты говоришь, что хочешь, чтобы я оставила тебя одну, что тебе нужно кое-что обхекать. Я говорю, что ты гарпилябия, и ты злишься или начинаешь хохотать до слез.

Однажды ночью я просыпаюсь от твоего крика — ты все кричишь и кричишь. Я несусь по коридору, распахиваю дверь, включаю свет. Ты сидишь на узкой кровати, подтянув пододеяльник к подбородку, с открытым ртом, и рыдаешь.

Что такое? Что не так?

Ты смотришь на меня. Бонак пришел, говоришь ты. И на секунду — потому что ночь, и я заспанная — я чувствую, как во мне поднимается одуряющая волна паники. Я стряхиваю ее. Открываю гардероб и показываю тебе, что внутри никого; помогаю тебе выбраться из постели, чтобы мы вместе опустились на четвереньки и проверили под кроватью, потом мы встаем у окна и вперяемся в черноту.

Там ничего нет. Тебе нужно поспать.

Он здесь, говоришь ты. Бонак здесь.

Большую часть времени ты сидишь как истукан в кресле, повернувшись в мою сторону. У

тебя запущенная экзема на руках, какой никогда раньше не было, и ты остервенело грызешь руки. Я пытаюсь устроить тебя поудобнее, но — теперь я вспоминаю об этом — удобство тебя раздражает. Ты отказываешься от чая, когда я приношу его тебе, не ешь, почти не пьешь. Ты отмахиваешься от меня, когда я приближаюсь с подушками. Оставь, не суетись, уймись. И я унимаюсь. Я сажусь за деревянный столик напротив твоего кресла и слушаю твои рассказы. Твоя агрессивная жизнестойкость заставляет меня сидеть и слушать тебя ночи напролет, почти без перерывов. Иногда ты говоришь, что тебе нужно в ванную, и встаешь с кресла, точно плакальщица с могилы, отряхивая невидимую пыль с брюк, одолженных у меня. Ты говоришь, я иду, и подходишь к лестнице с решительным видом, грозно сверкнув на меня глазами, давая понять, что я не могу продолжать без тебя, это не моя история, так что я должна набраться терпения и ждать, пока ты вернешься. На середине лестницы ты говоришь, что человек должен быть хозяином своих ошибок, жить с ними. Я открываю один из купленных блокнотов и записываю все, что могу вспомнить. Твои слова на бумаге, словно обезоруженные, обретают какую-то безмятежность.

Я размышляла о следах воспоминаний, остаются ли они неизменными или же мы меняем их, переписывая память. Прочны ли они, как дома и скалы, или же скоро увядают и заменяются, перекрываются. Все, что мы помним, мы пропускаем через себя, переиначивая, ничто не остается таким, каким оно было в действительности. Это меня удручает, лишает покоя. Я никогда не узнаю, что же произошло на самом деле.

Когда ты себя чувствуешь уже достаточно хорошо, я вывожу тебя погулять по полям. Когда-то здесь паслись овцы, но теперь это просто трава, такая мелкая, что сквозь нее проглядывает мел, холмы горбатятся, вздымая ребра земли, мелкий ручей, изрыгаемый из грязи, змеится вниз по склону. Каждые пару дней я объявляю, что движение — залог здоровья, и мы маршируем на холм, потея и отдуваясь на вершине, а затем спускаемся к ручью. И только тогда ты перестаешь жаловаться. Ты присаживаешься у ручья и опускаешь руки в холодный поток, пока не касаешься каменистого дна. Люди, как-то раз сказала ты мне, выросшие у воды, отличаются от остальных.

Что ты хочешь этим сказать? — спрашиваю я. Но ты не отвечаешь или просто забываешь для

начала что вообще говорила что-либо. Однако эта мысль не оставляет меня всю тихую ночь. О том, что нас определяет окружающий ландшафт, что наши жизни формируются холмами, и реками, и деревьями.

Ты в дурном настроении. Ты хандришь до темноты, а затем начинаешь бродить по дому, ища, что бы выпить покрепче воды. Где это? — кричишь ты. Где это? Я не говорю тебе, что опустошила буфеты, когда впервые нашла тебя у реки и привезла сюда, и что тебе придется обойтись без выпивки. Ты плюхаешься в кресло и смотришь на меня исподлобья. Я делаю тебе тост, который ты скидываешь с тарелки на пол. В одном из ящиков я нахожу стопку карт, и ты смотришь на меня как на безумную.

Я не знаю, говорю я. Чего ты хочешь?

Ты встаешь с кресла и показываешь на карты. Я вижу, как дрожат твои руки, от переутомления или злобы. Не всегда, черт возьми, должна быть моя очередь, говоришь ты. Я тебе достаточно рассказала. Всякого такого. Всякого дерьма про себя. Ты ударяешь по подлокотнику, вывернув руку. Теперь твоя очередь.

Отлично. Что ты хочешь знать? Я сажусь в кресло. Оно жжет твоим жаром. Ты затаилась у

стены, кутаясь в непромокаемую куртку, которую привыкла носить в доме.

Расскажи, как ты нашла меня, говоришь ты.

Я откидываю голову и скрещиваю руки так крепко, что слышу, как шумит кровь. Мне словно полегчало, что ты спросила об этом.

Это твоя история — отчасти ложь, отчасти домыслы — и это история о человеке, который не был моим отцом, и о Маркусе, который был для начала Марго — опять же, если верить слухам, пересудам, — и, наконец, это история — что самое худшее — обо мне. Я предъявляю права на это начало. Вот как месяц назад я нашла тебя.

Охота

Прошло шестнадцать лет с тех пор, как я последний раз видела тебя, когда садилась в тот автобус. В начале лета выбоины на дорожке, ведущей к коттеджу, заполнены лягушачьей икрой, но была почти середина августа, и ничего такого там уже не водилось. Это место было лодкой в другой жизни. В тот месяц по стенам расползались влажные пятна; порывы шального ветра заставляли камины выплевывать птичьи гнезда, яичную скорлупу, совиные катышки. Пол в маленькой кухне был скошен, так что катыш-

ки катились к дальней стене. Ни одна дверь не закрывалась как следует. Мне было тридцать два года, и я жила там уже семь лет. В Австралии есть выражение «за черным пнем». В Америке же говорят «глухомань» или «захолустье». Эти слова означают: не хочу никого видеть. Я поняла, что эта привычка досталась мне от тебя. Я поняла, что ты всегда пыталась схорониться в такой глуши, чтобы даже я тебя не откопала. Яблоко от яблони падает недалеко. Я добиралась до Оксфорда, где работала, за полтора часа автобусом. Никто, кроме почтальона, не знал, где я жила. Я оберегала свое уединение. Я отводила ему место в своей жизни, как другие отводят место религии или политике; ни то ни другое ничего для меня не значило.

Я зарабатывала на жизнь тем, что обновляла словарные статьи. Всю неделю я работала над словом «взломать». Карточки для заметок валялись по всему столу и даже на полу. Слово было хитрым, и простые определения тут не годились. Такие мне нравились больше всех. Они точно «ушной червь», песня, которую никак не вытряхнешь из головы. Часто я замечала, что вставляю их в предложения, в которых им совсем не место. *Расшифровать код. Взломать записку. Прервать.*

Я продиралась через весь алфавит, и когда добиралась до конца, он был уже другим, хотя бы слегка. То же самое происходило с воспоминаниями о тебе. Когда я была моложе, я возвращалась к ним снова и снова, пытаясь выудить оттуда какие-то детали, цвета или звуки. Только всякий раз, как я обращалась к какому-то воспоминанию, оно уже было слегка другим, и я понимала, что уже не могу понять, что произошло в действительности, а что я привнесла в него. После этого я перестала вспоминать, и наоборот, стала пытаться забыть. С этим я всегда лучше справлялась.

Каждые несколько месяцев я обзванивала больницы, морги, полицейские участки — и спрашивала, не видел ли кто тебя. Два раза за прошедшие шестнадцать лет мне почти улыбнулась удача: в компании лодочников-браконьеров оказалась женщина, подходившая под составленное мной описание; пара детишек сообщила, что видели тело в лесу, но потом признались, что соврали. Мне уже не мерещилось твое лицо в лицах других женщин на улицах, но обзванивать морги вошло в привычку. Иногда мне казалось, что я делаю это, пытаясь убедить себя, что ты больше не вернешься.

Тем утром я была на работе. Кондиционер так

морозил, что все были в джемперах и шарфах и в перчатках без пальцев. Лексикографы — причудливое племя. Хладнокровные тугодумы, разборчивые в словах. Сидя за своим столом — над грудой карточек, — я вдруг осознала, что уже почти пять месяцев не наводила справки о тебе. Самый долгий интервал. Я ушла в ванную комнату и обзвонила обычные места. Я составляла твое описание с учетом временных изменений. Белая женщина, за шестьдесят, темные волосы с проседью, рост пять футов один дюйм[1], около 70 кг, родинка на левом плече, татуировка на лодыжке.

В последнем морге, куда я позвонила, мужчина сказал, что как раз прикидывал, обратится ли кто-то за ней.

Ты всегда казалась такой могучей, нескончаемой, неподвластной смерти. Я ушла с работы пораньше. В том районе велись дорожные работы, и автобус долго петлял, прежде чем выбраться из города. Я никогда особо не походила на тебя, но в отражении грязного стекла ты проглянула сквозь уголки моего лица. Я вцепилась в поручень переднего сиденья. В тот вечер я собрала

[1] Примечания: 1
155 см. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

сумку, арендовала машину, перекрыла воду. Утром я выехала на опознание твоего тела.

К тому времени, как я вернулась домой, было темно. Я пошла включить свет на кухне, и меня одолел страх — тот страх, какого я не знала уже много лет — вдруг ты там стоишь. Я открыла горячую воду и держала руки под струей, пока не пошел пар. Ты была ниже меня, с широченными бедрами и такими крохотными ступнями, что иногда шутила, что в детстве тебе их стягивали, как китаянке. Ты не стригла волос, так что они были длинными и темными, жесткими у корней. То и дело ты говорила мне заплетать их. *Гретель, Гретель, у тебя быстрые пальчики.* Ты смеялась. Я не помнила этого долгое время. Какими были на ощупь твои волосы. *Можешь сделать русалкин хвост? Нет, не так, давай по новой. Еще раз.*

Я пыталась работать. *Взломать. Разделить на куски. Сделать или стать неисправным.* Утром я наконец-то снова увижу тебя, в морге. *Трепет* — это слово также годилось для описания птиц, взмывающих в небо. Стайка птиц поднялась у меня в горле и выплеснулась через дырявую челюсть. Я нарушила свое же правило. Между холодильником и стеной была засунута бутылка джина. Я вытащила ее. Налила на три пальца

в стакан. Подняла за тебя. Твой голос говорил у меня в голове, дальше и дальше. Я не могла разобрать слов, но знала, что это ты; предложения составлялись в твоей манере, слова были простыми и грубыми. Я прихватила зубами край стакана. И закрыла глаза. Громко хлопнула дверь, и я почувствовала кожей лица ветер. Открыв глаза, я увидела тебя в низком дверном проеме, выходившем в сад. На тебе было то самое, старое оранжевое платье, туго стянутое в талии, из него торчали твои ноги. Ты протягивала руки, залитые грязью. Река вливалась в твое левое плечо и расширялась за тобой. Она была такой, как тогда, когда мы там жили, — плотной, почти непрозрачной. Не считая того, что на кафеле в кухне я могла видеть тени существ, нагибавшихся и нырявших, плававших. Я снова открыла горячую воду и стала держать под ней обе руки. Когда я оглянулась, ты подобралась ближе, в твоих черных космах запутались сорняки, и застарелый табачный запах пропитал всю кухню, от пола до потолка. Я чувствовала, как ты всматриваешься в мою жизнь. Даже в моем воображении ты была категоричной, придирчивой. Ты чистила яйцо, снимая скорлупу с гладкой белой окружности. Ты бегала за мной со шлангом до тех пор, пока

земля не превращалась в грязевое месиво, и мы валились, перемазанные, точно новорожденные луковицы. Ты смотрела на меня от входа моей кухни, а за тобой бурлила река. *Что ты делаешь?* — сказала ты. *Это здесь ты устроилась? От всех уекала.*

Я надела ботинки, пальто и шляпу и вышла так быстро, что едва успела закрыть дверь. На улице светились вывески и фонари, и серебрилась луна. Я шагала так решительно, что через некоторое время мне пришлось остановиться, чтобы выровнять дыхание. Оглянувшись, я увидела в темноте квадрат света в окне моей кухни. Желтая нора в склоне холма. Я не помнила, оставляла ли свет.

Я всегда понимала, что прошлое не умирает просто потому, что нам так хочется. Прошлое привязано к нам: скрипы и шорохи в ночи, оговорки, рекламный жаргон, тела, привлекающие нас или отталкивающие, звуки, напоминающие нам о чем-то. Прошлое не было нитью, тянущейся за нами, оно было якорем. Вот почему я искала тебя все эти годы, Сара. Не ради ответов и утешений; не чтобы взывать к твоей совести или отчитывать тебя за моральное падение. А потому, что когда-то, давным-давно, ты была моей матерью и бросила меня.

Охота

Арендованная машина была красной, а больница как будто состояла по большей части из длиннющего коридора. Я прошла мимо кабинетов гинеколога, респираторных и частных консультаций. Пахло супом, разогретым в микроволновке, подгорелым белым хлебом, отбеливателем. Морг был тремя этажами ниже. Я топталась снаружи, не решаясь войти. На доске объявлений предлагали выгул собак, хомячков задаром, новый мотоцикл всего за сто фунтов. Кондиционер не работал, так что, когда люди поднимались со своих мест, от них оставались влажные пятна. Больничные служащие приходили и уходили, в наушниках или уткнувшись в мобильники. Я редко запоминала лица или фигуры. Я думала о словах, которые ты говорила: бухло, лучистая, слякоть. Как ты пахла? Я подношу запястье к носу. Ты была жадной и ревниво оберегала свое время и пространство. Даже прожив без тебя шестнадцать лет, даже когда я шла на опознание твоего тела, я боялась чем-то не угодить тебе. Медсестра толкала каталку через вращающиеся двери, и когда они открылись, я заметила треугольник комнаты за ними, со злым

флуоресцентным светом.

Я не раз говорила со служащим этого морга по телефону за прошедшие годы. Его предложения были размечены колебаниями и вопросительными знаками в конце утверждений. У него была лысина, матово лоснившаяся. Он сказал, что моя внешность подходит моему голосу. Я не совсем поняла, что это значит. На тебя я не очень походила. Тебе была свойственна грубоватая притягательность, пугавшая всех, с кем я тебя видела. На доске были пришпилены картонные кактусы. Заметив, что я смотрю на них, он пожал плечами.

В них что-то есть, вам не кажется? Они ни в ком не нуждаются. Они хранят воду внутри.

Я не помню, как попала в эту комнату, с металлическими дверцами в стенах и с тихо звучавшей песней по радио, незнакомой мне. Он распахнул одну дверцу и выдвинул койку. Тебя накрывала голубая простынь. Весь воздух куда-то пропал. Я различала формы под простыней: нос, бедро. Ступни, торчавшие с одного края, казались восковыми. На одном большом пальце висел номерок, на другом — колокольчик.

Зачем это? — спросила я.

Он провел пятерней по своей лысине. Его руки

были очень чистыми, но в уголке тонко очерченного рта оставались частицы пищи. Это так, сказал он, чистая условность. До того, как появились пульсометры, это помогало убедиться, что мертвые действительно мертвы. Пережиток прошлого.

Должно быть, поэтому говорят «один к одному», сказала я, и он посмотрел на меня так же, как и другие, когда я говорю, как словарь. Мне хотелось рассказать ему обо всех прекрасных словах, применяемых для обозначения мест хранения усопших, о которых я думала, пока вела машину: мавзолей, усыпальница, саркофаг.

Хотите на счет три? — спросил он. Раз, два, три? Некоторым помогает.

Нет.

Он сдвинул голубую простыню чуть ниже плеч. Я ощутила, как у меня сжался желудок, закололо под волосами и прошиб холодный пот. Это была ты. Только через секунду я поняла, что ошиблась. Ее волосы действительно были такого же цвета, как у тебя, и что-то в линиях глаз и рта напоминало тебя, как и форма лба. Но ее нос был не таким широким — у твоего спинка была свернута на бок еще до моего рождения — и родинка на плече была не такого цвета, как у тебя, почти болезнен-

но лилового.

Вы уверены? Похоже, он был разочарован. Им в морге, наверное, попадалось не меньше неопознанных тел, чем в канале, распухших, всплывавших в мертвый сезон. Он приподнял простыню над ногой, показывая татуировку, но она была свежей, даже толком не зажившей после иглы, проникавшей под кожу: звезда с лучами разной длины, карта не поддающейся определению страны. Что изображалось на твоей, я никогда не могла разобрать, а ты мне не говорила. *Даже у матерей должны быть секреты.*

Да, не сомневаюсь, сказала я.

По пути из морга я остановилась залить бензин и присела на деревянную скамейку рядом со стопками газет и мешками с углем для барбекю. Все казалось неправильным: металлические дверцы машин переливались в жарком воздухе, поднимавшемся от дороги. У меня во рту был кислый, нечистый вкус. Мне казалось, что на руках и щеках у меня содрана кожа. Я была измотана, словно прожила этот момент десять раз подряд, словно мне суждено всегда оставаться здесь, на этой бензоколонке, в жарком мареве, после того как я увидела мертвое тело, оказавшееся не твоим. Это было ошибкой — обзванивать

всех в поисках тебя. У каждого имеются свои заскоки и телефонные номера, которые лучше не трогать. Я достала из бардачка дорожную карту. Несколько дорожных знаков показались мне знакомыми (печатные слова всегда выручали меня), и, всмотревшись, я поняла, что нахожусь вблизи конюшни. Я думала, что до нее еще несколько часов, что надо ехать всю ночь, но она была совсем недалеко, в часе езды, если не меньше. Это взбудоражило меня. Все это время я находилась так близко к ним. Я купила плитку шоколада и сидела в машине, пытаясь решить, что делать. Шоколад растаял даже раньше, чем я вскрыла упаковку. Казалось невозможным — голубая простыня снова закрыла лицо женщины — отправиться домой.

На круговом повороте я чуть не сбила какого-то зверька, промелькнувшего под самым бампером размазанным пятном. Я вдавила тормоз. Прикусила язык, вскрикнула. Несомненно, я его задавила. Кто бы это ни был. Я вышла из машины. Было жарко. Слишком жарко по любым меркам. Я присела на корточки и заглянула под машину. Когда я встала, то увидела, как ко мне бежит женщина в лиловом макинтоше.

Вы сбили моего песика? Правая часть ее лица

была скошена вниз — вероятно вследствие инсульта — и ее дикция была нечеткой. Я хотела уехать, но она схватила меня за руку. Вы сбили моего песика?

Я не знаю, сказала я.

Ее макинтош был застегнут на молнию до самого подбородка, несмотря на жару. Мы вместе опустились на корточки и заглянули под машину, а потом стали осматривать кусты по обеим сторонам дороги. Она не звала его по имени, а только отчаянно свистела — безрезультатно.

Ему нельзя есть что угодно, сказала она, он на строжайшей диете. Нам нужно найти его, пока он что-нибудь не съел. Он вечно убегает. Она говорила так, будто мы были давними подругами. Он даже щенком всегда удирал.

Из-за угла вывернула машина и чуть не врезалась в мою, стоявшую посреди дороги.

Я его не вижу. Может, вас куда-нибудь подбросить?

Но она ушла, продираясь через густые придорожные заросли, за которыми была канава. Я слышала, как у меня во рту толкутся слова, означающие вызывание мертвых. Я все еще ожидала найти тебя где-то, скрюченную, холодную на ощупь, с ногами, торчащими в разные стороны.

К конюшне вела под уклон крутая дорога в рытвинах, на двустворчатых воротах висли две девочки в узких джинсах, а дальше была автостоянка. Конюшня была последним местом из всех, где я жила с тобой, последним помещением, которое я разделяла с тобой. Ты помнишь, как девушки, работавшие по выходным, оставляли свои недопитые бутылки «кока-колы» вдоль стены и стояли так близко, голова к голове? И среди них были две девушки, которых мы никогда не могли различить. Многие из них говорили с мутным эссекским акцентом, всегда сбивавшим меня с толку — растянутые слова с лишними *о* и *у*.

Поначалу я просто осматривалась, держась поодаль. На арене четверо детишек учились верховой езде на толстых пони. Когда мы здесь жили, инструктором была высокая женщина с прямыми волосами и длинными накрашенными ногтями. Голос точно труба, но сама она была хрупкой, часто носила корсеты и наматывала поводья на шею. Теперь ее уже не было.

Я проскользнула с краю арены. На лестнице, поднимавшейся к комнате, в которой мы жили, было сломано несколько перекладин. Я вспомнила ту узкую дорожку между ареной и конюшней, потому что я часто сидела на верхней ступеньке

и смотрела, как ты возвращаешься, переступая по ухабистой земле, ругаясь и хватаясь за стену. Должно быть, я знала, что ты уйдешь, всякий раз ожидая, что ты не вернешься домой. *Ты меня ждешь? Как мило*, говорила ты. Но твое лицо всегда выражало другое, смыкаясь над словами, точно строительные леса.

Я вернулась на стоянку. Урок был окончен, и инструктор спросила меня, пришла ли я за ребенком или хочу заниматься сама. Четырнадцать фунтов за занятие. Если для меня, то дороже. Я сказала ей, что жила здесь когда-то подростком, но ей это было безразлично, и она смотрела через мое плечо, ища повода уйти.

Мы снимали комнату там, наверху.

Она пожала плечами. Больше они не сдают жилье.

Я сказала, что еще интересуюсь занятиями для племянницы. Можно мне осмотреть остальной загон?

Я обошла постройку сзади и вышла к полю. Чуть поодаль какая-то женщина, согнувшись, ковырялась в земле. Я прошла под электрическим шлагбаумом и приблизилась к ней. Она собирала острые камни и выбрасывала их с поля.

Помочь вам? Она обтерла руку о брюки сзади.

На шее у нее был серебряный крестик, свисавший всякий раз, как она нагибалась. Она была старше, чем инструктор, рыжие волосы уже тронула седина по пробору. Я показала твою фотографию.

Я ищу эту женщину. Она жила здесь пару лет. В комнате над ареной.

Она снова вытерла руки. Взяла фото. Всмотрелась. Может быть. Она протянула мне фото, жуя губами. Я не уверена.

Может, вы еще посмотрите?

Над ареной?

В той комнате. Она вычищала стойла. И с ней жила девочка. Дочь. Ей было около тринадцати, когда они тут поселились. В школу не ходила. Много бродила по округе.

Да.

Что?

Да. Она окинула взглядом ряд уродливых строений, квадратную арену и неряшливые стойла. Я помню ее. И девочку тоже. А что вы хотите знать?

Я ее племянница. Ее очень давно никто не видел из родных. У нее отписано немного денег в завещании. Мне нужно найти ее.

Она кивнула своим квадратным подбородком, испачканным в земле, и мы направились с холма

в передвижную кухню. Она поставила на плиту чайник и оперлась о стойку. А я слушала, как она рассказывает о том, что помнила о тебе и о девочке, которой была я. В раковине стояли чашки с зеленым налетом. На диване сидела девочка-подросток, листая журнал и потягивая газировку. Женщина рассказывала о чем-то, чего я не помнила, хотя я думала, что помню все о том времени. О громкой музыке, доносившейся из комнаты над ареной, как ты иногда давала уроки или вывозила вагон с лошадьми на представления. Это взбудоражило меня. Даже мои воспоминания, в которых я была уверена, оказались неверны. Я саданула о стойку.

Она налила кипяток в кружки с растворимым кофе. Сахара нет, но есть пирожные с глазурью.

Хорошо. Вы больше не видели ее? — спросила я. Постукивая кружкой по зубам вместо того, чтобы пить. После того, как она съехала. Она не возвращалась? У меня в висках стучало.

Я не знаю.

Возможно?

Я поняла, что сказала это слишком громко по тому, как она взглянула на меня. Девушка на диване отложила журнал и тоже уставилась на меня.

Люди приходят и уходят. Дайте-ка мне еще фотографию. Она взяла ее аккуратно двумя пальцами, стараясь не помять. Мелани, сказала она девушке. Разве тебе не нужно чистить стойла?

Они уже чистые, сказала Мелани.

Не говори, лишь бы сказать, если это не правда.

Она подождала, пока Мелани уйдет, и только тогда вернула мне фотографию. Была одна женщина несколько лет назад. Я не уверена. Она покачала головой.

Продолжайте, сказала я.

Я не знаю. Это могла быть она. Она бродила тут вокруг пару часов, и никто не обращал внимания. Я увидела ее в обеденный перерыв. Она вышла в поле, где мы с вами сейчас были. Я с ней заговорила и поняла, что она не в порядке.

Что вы хотите сказать?

Она наклонила голову, словно не желая говорить. Я хочу сказать, она как будто была немного не здесь. Она пропускала слова и, казалось, не очень понимала, где находится или что делает здесь. Тут неподалеку дом престарелых, и я подумала, что, может, она оттуда пришла, так что я вызвала полицию. Только когда они приехали сюда, было уже темно, и она ушла, а когда я

позвонила в дом престарелых, мне сказали, что у них все на месте. Возможно, это была не она. Люди пропадают, вы же знаете. Она посмотрела на меня. Люди приходят и уходят. Возможно, она была вовсе не той, кого вы ищете.

Когда я ехала обратно от конюшни, то увидела собаку. На газоне у обочины дороги. Не какую-нибудь цацу, дворнягу, несуразную, с проплешинами. Я уже почти проехала, а когда все же остановилась, случилось замешательство, так как собака принялась ходить взад-вперед, показывая мне свои белесые десны. Но как только она забралась в машину, сразу успокоилась. Я смотрела в зеркальце, как она ровно сидит посередине сиденья, глядя на меня. *Я* не люблю животных, сказала ты у меня в голове. Так громко, словно сидела рядом. *Верни эту гадость откуда взяла.*

Мне тоже не особо нравятся собаки, сказала я, и собака закрыла глаза, словно наш разговор успел утомить ее.

Я каталась туда-сюда по дороге, ища ее хозяина, но никого не видела, и в домах никто не отвечал. Мне нужно было возвращаться. Мне уже пора было быть дома, чтобы выспаться к новому рабочему дню.

Я продолжала ехать, пока не выбралась на шос-

се. Собака издала горловой звук, так похожий на слово, что я чуть не нажала тормоз. Она прошлась туда-сюда по сиденью, подняла и опустила ногу. Я остановилась у первого съезда с дороги. Рядом светились вывески «Маленького шефа», «Короля бургеров», «Подземки». Собака помочилась на стоянке отеля «Приют путника». Я была такой голодной, что купила чипсы и съела их, привалившись к машине. Я вспомнила слышанную когда-то историю о том, как одной девочке попалась зажаренная ящерица в порции «Съедобного счастья». История из тех, что я рассказывала тебе, когда хотела рассмешить. Я смотрела на спорившую пару на крыльце «Приюта путника», на их разевавшиеся рты и машущие руки. Я подошла к ним и спросила, сколько стоит комната. Двадцать пять фунтов, без завтрака, но есть автомат с едой в конце коридора. Я не успела подумать, что делаю, как уже оказалась в комнате. Запах бензина из окна. Коврик в желто-черных треугольниках. Чей-то волос в смыве раковины.

Оно проплыло сквозь жаркий летний воздух, проползло по коридорам, просочилось сквозь дверь в мою комнату, забралось под пуховое одеяло и положило голову на мою подушку. Я крепко зажмурилась. Я чуяла запах его медли-

тельного, как бы жвачного пищеварения. Матрас был влажным и начал расползаться. Я снова открыла глаза, наполнила узкую ванну почти до краев, закрыла дверь, оставив собаку снаружи, забралась внутрь.

Должно быть, я отключилась, потому что, когда я пришла в себя, я оказалась под водой. Надо мной были размытые плитки с магнолией и грозно нависавший рожок душа. Я попыталась сесть, но что-то давило мне на грудь. Я смотрела, вжимаясь руками в шершавое дно ванны, как воздух выходит у меня из носа и рта, и чувствовала этот вес, давивший на меня. В белой бездыханной вспышке я поняла, что это было. Это было то, о чем я обещала себе больше никогда не думать. Это было то, что жило на реке в тот последний месяц. Это слово ощущалось диссонансом у меня во рту. Я увидела белые звезды, ощутила ужасающий холод в горле.

Вес пропал. Я поднялась, глотая воздух, выплескивая воду на пол, заливая ванную комнату до закрытой двери. Я втянула столько воздуха, что легкие горели, перевалилась через край и рухнула на колени. Собака подвывала. Я приложила щеку к прохладному полу и долго так лежала.

Коттедж

К чему я всегда возвращаюсь — конечно же, это к тому, как ты меня бросила. Это потому, говоришь ты мне из кресла, что я эгоистка и прилипала. Ты говоришь мне, что я всегда была такой. Ты говоришь мне, что на реке я липла к тебе, как рыба-прилипала, и выла так, что деревья валились. Ты склонна к преувеличениям. Рассказывать твою историю — это что-то вроде бурения, а не просто изложение событий. Временами ты спокойно слушаешь. Временами ты меня перебиваешь, и тогда наши два повествования схлестываются, накладываясь друг на друга.

Я мало что помню о том, что происходило на реке. Думаю, забывание — это форма самозащиты. Я знаю, что мы покинули место, к которому были пришвартованы с тех пор, как я родилась, и что Маркуса с нами не было. Я знаю, что мы отплыли в лодке вниз по течению, довольно далеко, и пришвартовались в городе, где каждый час отмечался колокольным звоном. Оставались там, возможно, неделю; не дольше. Однажды, проснувшись, я увидела, как ты пакуешь рюкзак и пару пластиковых пакетов. Не думаю, что ты хоть когда-то заботилась запирать лодку. И тогда

я поняла, что мы больше сюда не вернемся. Мне было тринадцать, и все, что я знала тогда, было связано для меня с этой лодкой. Все, кроме тебя.

Мы присели на первую скамейку, попавшуюся по дороге, и ты заплела мне волосы в тугую до боли косу. А затем я заплела косу тебе.

Мы словно собирались на войну. Я чувствовала гудение у тебя под кожей, в тебе циркулировало электричество, как по вышке электропередач или электростанции. Ты была невысокой — хотя теперь, когда тебе за шестьдесят, ты ссохлась еще больше, — но ты позволила мне забраться тебе на закорки и так несла меня.

Пару месяцев мы околачивались по хостелам и мини-отелям, спали на чужих диванах почти задаром. Мы нигде не задерживались надолго. Мы не могли позволить себе этого. Под конец мы забирались в автобусы и дремали, привалившись к грязным окнам, пока нас не будил водитель и не говорил нам выходить.

Мы прожили над конюшней около трех лет. Ты расхрабрилась, я думаю, от отчаяния. Мы сходили с автобуса, и ты принималась стучать в двери домов. Кто-то сказал нам, что женщина, сдававшая в аренду загон, иногда пускала жильцов в помещение над ареной, и мы нашли это место

и спросили насчет комнаты. Я помню, как они смотрели на тебя. Мы обе жутко выглядели после месяца без регулярного сна и еды. Ты курила не переставая. Ты все время пила, всегда ходила с бутылкой, вытирала рот рукой так рьяно, что иногда разбивала губу. Нам разрешили остаться, чтобы мы чистили стойла. Мы проскользнули в спортзал по соседству и приняли душ. Иногда ты подрабатывала в закусочной и приносила просроченную сдобу. Лошади объедали сухую траву толстыми желтыми зубами. Ты все пила и пила и по утрам повсюду искала резинку для волос, которая уже была у тебя на голове; ты щелкала пальцами, пытаясь вспомнить имена лошадей, или детей, или дни недели. Иногда я прятала флягу, и тогда мы ругались. Как ты посмела, говорила ты, как ты посмела. Я выпивала все, что там было, чтобы отвратить тебя от этого, но ты только заново наполняла флягу, длинной бурлящей струей, разбрызгивая содержимое. Ты поседела за ночь. Нас спросили, скоро ли мы думаем съезжать, но ты сказала, что не знаешь. Я тогда не стыдилась тебя. Думаю, я еще была во власти твоих чар. Ты была словно проповедницей или вождем секты. Твоя мощная энергетика обволакивала людей, твои руки вечно двигались, пока ты говорила.

В наш последний вечер ты сказала, что мы выходим в свет. Я никогда до этого не была в ресторане. Ты заказала вина, налила мне немного, и себе побольше. У тебя опухла кожа вокруг глаз, и морщинки расползлись по всему лицу, по шее и рукам. Я не знаю, где ты нашла платье, которое на тебе было.

Когда ты сказала «с днем рождения», я посмотрела на тебя, пытаясь понять, не шутишь ли ты, а ты смотрела мне в глаза поверх стакана.

Это не мой день рождения.

Ты повела плечами, не пожала, а как-то вяло пошевелила. Это не важно. Всегда чей-нибудь день рождения, разве нет? Мне с тобой нужно поговорить кое о чем.

Мне едва исполнилось шестнадцать. Мы часто спорили, пару раз я била тебя или ты меня. Мы были кремнем и наковальней. Пожалуй, поэтому ты и ушла. Я не думаю, что ты когда-либо верила в то, что семья была достаточной причиной, чтобы люди держались вместе. Я не знала, что будет дальше, хотя, пожалуй, должна была бы. Ты намекала на это уже несколько недель, рассуждая со смехом о мужчинах и их агрегатах.

Ты должна быть осторожной, сказала ты. Ты не хочешь наделать ошибок, о которых потом

будешь жалеть. Понимаешь меня?

Я кивнула, хотя не думаю, что понимала тебя. Я тогда ничего не знала о сексе, не считая того, что ты иногда приводила с собой всяких доходяг, не считая звуков, которые они издавали, и твоего молчания.

Ты достала из сумочки презерватив и показала мне. Ты взяла упаковку в зубы и надорвала. Ты поискала что-нибудь для примера и не нашла ничего подходящего, кроме ножа, которым ела. Нож оказался плохим примером. Я видела, как пара официанток у кассы пялилась на нас. Женщина за соседним столиком открыто уставилась на нас, не донеся вилку до рта. Тебя, казалось, совершенно не заботили их взгляды. Нож порвал резинку.

Ты поняла идею, сказала ты, закончив урок. Ты поискала, куда бы деть презерватив, и засунула его под тарелку.

После того как мы вышли из ресторана, ты повела меня в бар с квадратным танцполом, зеркалами на всех стенах и без замка на двери в ванную комнату. Ты сказала человеку за стойкой, что я никогда не пила коктейлей, и заказала нам ассортимент. Я ничего не пила, потому что боялась, что мы не сумеем найти дорогу назад. Я стояла за высоким шатким столиком. С липкой

столешницей. Ты танцевала, вопя, что я скромница, вихляла бедрами, вскидывала руки вверх и раскрывала ладони, словно разбрасывая что-то. Когда ты сошла с танцпола, ты была мокрой и улыбалась.

Платье такое тесное, сказала ты. Я помогла тебе расстегнуть его на шее. Ты вздохнула и потерла руки. Мне нужно рассказать тебе о Маркусе.

Я стала крутить головой и прокричала, что не хочу об этом слушать. Что бы ты ни хотела сказать, я не хотела этого знать.

Ты уверена? Ты вдруг показалась мне трезвой, когда накрыла своими грубыми руками мои на столе и похлопала меня пальцами по щеке. Сейчас я задаюсь вопросом, осталась бы ты, если бы я позволила тебе рассказать, что ты хотела. Я не знаю.

Я думаю, сказала ты, словно меня там не было, что мне бы следовало знать с самого начала. Ты говорила о том, что видела в воде, о телах в реке и металлических капканах. Ты рассказывала о Бонаке. Мы сделали его, говорила ты снова и снова, разве ты не понимаешь, это мы сделали его таким. Я прижимала ладони к ушам до тех пор, пока твой голос не растворился в шуме музыки.

В автобус я вошла первой. Обернувшись, я уви-

дела, что ты стоишь на тротуаре, а когда водитель спросил тебя, едешь ли ты, ты сказала нет. Сквозь закрывавшиеся двери того автобуса: твой закинутый лоб, пудра на твоем лице, плотная точно известка, помада на губах почти вся стерлась. Твое лицо утончалось между дверьми, как луна, и наконец, пропало.

Какое-то время после этого я ошивалась в конюшне, и, думаю, меня не прогоняли, потому что поняли, что ты свалила, а мне было некуда податься. В итоге одна из матерей — с тщательно ухоженным озабоченным лицом — доложила обо мне. Я пробыла какое-то время в «системе» — так называли это другие девочки, жившие там со мной — прошла через несколько домов, несколько приемных семей, с однообразными лицами. Я мало что помню. Они спрашивали меня о тебе. И не раз. Спрашивали, есть ли у меня другие родственники, хоть кто-нибудь, кто мог бы присмотреть за мной, пока мне не исполнится восемнадцать. Я говорила нет. Они спрашивали, не знаю ли я, где ты. Я говорила, что ты умерла.

Я была в последнем из приемных домов до тех пор, пока не выросла настолько, чтобы уйти. Школа, в которую меня определили, была суровой — тысяча учащихся, если не больше,

строительные леса на месте бывшего спортзала, грязевое месиво вместо поля. Многие дети жили в передвижных фургонах вдоль железной дороги. Мне там не нравилось, и я старалась улизнуть при каждой возможности. Один раз мне удалось добраться до реки, прежде чем меня поймали. Я не помню, что я думала делать, когда доберусь до того места на реке, у сосновой рощи, где я жила с тобой. Вряд ли у меня был план. Наверно, это просто мышечная память направляла меня обратно туда.

Мой язык — наш с тобой язык — сыграл со мной злую шутку в школе. Я сказала учительнице, что мне нужно кое-что обхекать, обозвала одного мальчишку гарпилябией. За все эти годы ты ни разу не сказала мне, что придумывала свой язык, применимый только к нашей ситуации, к нам с тобой. Ты меня никогда не предупреждала. Довольно скоро другие ученики стали замечать, что я использую слова, неизвестные им. Они передразнивали меня, коверкая эти слова, выкрикивая их в коридоре или в классе. Они стали называть меня иностранкой или доводчицей — типа, она не хочет говорить по-английски, английский для нее недостаточно хорош, так что она его доводит до ума.

Я избавлялась от тех слов, которым ты научила меня, стирала их из памяти. За годы я настолько позабыла их, что теперь, когда я оглядываюсь на то время, они кажутся мне такими же чуждыми, какими должны были казаться другим детям.

Ты словно дикарка, сказала мне одна девочка в школе. Ее звали Фрэн. Ты словно из тех детей, которых держали в подвалах. Которые были прикованы к своим горшкам в подвалах, даже не обученные говорить.

Я выкрала у Фрэн тени для век и ожерелья, которые она держала в своем тайнике, и закопала. Я дралась с большими мальчишками до крови — их или моей. Я думаю, что тогда я еще помнила большую часть из жизни на реке, я была нашпигована этими воспоминаниями изнутри и снаружи, словно мои руки были усеяны мигающими глазами.

Это были годы, когда я пыталась найти тебя. По выходным я садилась в автобус и объезжала все места, в которых, как я думала, ты могла быть. Разыскивала тебя по всей округе. У меня была фотография — она и сейчас у меня, — и я показывала ее всем, кого встречала. Я говорила: она низкого роста, ниже нас; у нее седые волосы и серые глаза. Ты мне мерещилась повсюду. В окнах

проезжавших автобусов, в очередях супермаркетов, за столиками кафе и пабов, в машинах на светофорах. Я видела, как ты идешь или бежишь, сидишь, говоришь, смеешься, выпятив голову. Я преследовала женщин по улицам, но никто из них не был тобой. Ты пропала без следа. Ты была призраком в моем мозгу, в моем нутре. Я начала сомневаться, а существовала ли ты вообще в действительности.

Рядом со мной крутилась пара девчонок, и, я думаю, они видели во мне полоумную, плывшую не в ту сторону, и им было любопытно, что со мной будет дальше. Рози нравилось сидеть рядом со мной на математике, и она то и дело говорила мне всякие вещи: как она проколола себе ухо; как ее сестра чуть не подожгла стол для пинг-понга, где она проводила каникулы. Ей нравилось говорить об учителе математики, который был привлекателен только тем, что был моложе остальных. Она говорила, что он застенчивый, и перечисляла все, чем бы хотела с ним заняться после школы. Оглядываясь на то время, я думаю, что, может быть, ей нравилось сидеть рядом со мной потому, что рассказывать все это мне было совсем не тем же самым, что рассказывать это кому-то еще. Это было все равно как учить кого-то

говорить или читать. Я никогда раньше не слышала таких слов. Я не знала языка, на котором она говорила. Даже сейчас эти слова кажутся мне лишь частично переводимыми на мой язык: трахаться, чпокаться, сношаться, обжиматься, миловаться.

Нас повезли на экскурсию в Озерный край[2]. Там были двухъярусные кровати, скалолазная стенка и бассейн, в котором мы учились опрокидывать каяки и где у меня начались панические атаки — вода в носу, тени ног, марширующих ко мне, словно я снова тонула в реке. А еще мы учились целоваться. Там была Рози и еще одна девушка, которую я мало знала. Мы занимались этим перед обедом на двухъярусных кроватях или снаружи, за бассейном. Их рты на вкус напоминали огурец. Мы строго судили друг друга: слишком много языка, не крути им так. Они уже целовались с мальчишками, но мне это было в новинку. Я все время думала об этом. Хотя понимала, что поцелуи — это даже не финальный акт. Это был переход, ведущий к чему-то еще. Я думала о тебе в ресторане в тот раз, когда ты показала мне презерватив. Я столько думала об

[2] Примечания: 2

Горный регион на северо-западе Англии, в графстве Камбрия. Знаменит своими живописными гористыми и озерными ландшафтами.

этом, что иногда словно слепла и глохла, никого не видя и не слыша.

Потом во время поцелуев мне стал являться Маркус, возникая из груди моих партнерш, словно он все время был там. От этого меня охватывало лихорадочное чувство, близкое к истерике. Рты девушек были холодными, но Маркус, возникавший из них, жегся, словно клеймо. Иногда их руки на моих ногах настолько напоминали его, что на меня накатывала паника. Если я не открывала глаз, кто угодно мог быть им. Я хотела спросить тебя, видела ли ты что-то подобное, целуясь с другими людьми?

Спустя какое-то время я была уже сама не своя от этого. Он поджидал меня, скрючившись там, с закрытыми глазами, еле живой. Я ощущала его дыхание за дыханием девушек, чувствовала, как его неуемный язык мечется у меня по небу. В нем было что-то болезненное, мох облеплял его легкие и желудок, пронизывал его вены. От этого веяло чем-то речным. Я это понимала. Когда я думала об этом, мне виделось шевеление за стеклом, прерывистые разноцветные блики. Я не знала, что это, я только знала, что больше не хочу этого видеть. Мне была невыносима мысль о том, как он выпирает из других ртов, просовывает

пальцы сквозь костяшки чужих рук, извивается из их глоток. Я не могла выносить все это и так же не могла перестать думать об этом. Я не могла перестать думать о том, каково это будет — заняться сексом с мальчиком и вдруг увидеть Маркуса, глядящего на меня из его лица. Когда я сказала девушкам, что больше не хочу целоваться с ними, они только пожали плечами. Мы не лесбиянки, сказали они.

Коттедж

После того как я нашла тебя у реки и привела обратно в дом, мне стал сниться один сон. Я в подвале словарного отдела, где я работаю. Окон там нет, а единственный источник света — это широкие округлые лампы, свисающие на проводах ниже обычного с грязного навесного потолка. Стоят ряды металлических картотечных шкафов. Десять из них, если не больше, заняты словами, произносимыми задом наперед, еще десять — словами, вышедшими из употребления. На стенах старые отпечатки рук, на полу древние отпечатки ног, за дверью в маленькую ванную комнату горит свет, хотя на мой стук никто не отвечает. Из интереса я выдвигаю ящик на букву «Б», перебираю желтые карточки со словами,

но нужного мне там нет. *Бонак*. Конечно, его нет; это ведь не настоящее слово. Его просто не существует.

Я иду по коридору к лифту. Я знаю, что это во сне, потому что в реальности его переоборудовали задолго до того, как я начала там работать, но здесь он старый, с решетчатой дверью, которую я отвожу в сторону, и красными вельветовыми стенами. Он медленно движется между этажами, позвякивая. Мы останавливаемся на офисном этаже. На столах нет телефонов, только в углу две телефонные кабинки, и трубка одного из телефонов покачивается на крючке. Я беру трубку, рассчитывая услышать твой голос, но там тишина, не слышно даже помех.

Кофейная машина на кухне теплая на ощупь; холодильник, который я открываю, заставлен аккуратно подписанными пластиковыми коробками. АРУНДАТИ, НЕ СЪЕДОБНО. НАТ 13/4/2017. БЕНДЖИ. На стенах коридора плакаты, призывающие к тишине. Я иду в наш рабочий муравейник. Компьютеры в большинстве кабинок включены, на столах аккуратно разложены карточки с выписками, коробки для входящих и исходящих сообщений заполнены. Я иду к своему столу, но, подойдя, вижу на нем чужие вещи.

Красное яблоко с аккуратными следами зубов, блюдо с зеленоватыми маринованными яйцами, энциклопедия с загнутыми страницами. Когда я сажусь на стул, мне неудобно, он подкручен для человека ниже меня. Я смотрю в компьютер, пытаясь понять, кто занял мое место. В электронной почте есть письма, но они подписаны только одной буквой — С. Откуда-то слышится шум. Я встаю и смотрю поверх кабинок. Автоподсветка в другом конце помещения включается и — как только я смотрю туда — снова гаснет. Я сажусь обратно и начинаю читать разложенные определения. Некоторые слова так перечеркнуты, что мне видно только отдельные буквы. *Звук реки ночью. Момент одиночества*. Ближе к низу стопки одно слово написано ясно. *Бонак: то, чего мы боимся*. Даже один вид этого слова во сне выворачивает мне нутро. Я накрываю его рукой.

Слышится звук падения какой-то вещи на ковролин. Я встаю и выхожу в главный коридор — между кабинками и стеной. Ковролин впереди смят, как будто кто-то задел его ногой. Я разглаживаю его. Навесной потолок над головой начинает греметь, панели смещаются, открывая переплетение труб и проводов. Я вижу быстрое движение. Панель впереди срывается с потолка и

разбивается об пол. Другие тоже выпадают, разбиваясь или отскакивая от столов. А затем начинает течь вода — не чистая, фильтрованная офисная вода, а помойная, с сорняками и рваными сетями, из которых сыплется рыба на ковролин. С потолка льется вода. У меня над головой что-то быстро елозит, так что оконные стекла звенят. Я слышу, как что-то падает позади меня на пол. Я не оборачиваюсь, но слышу, как оно движется по полу. Я знаю, что ты такое, думаю я. Только, когда я просыпаюсь, я опять забываю это.

Наутро после первого такого сна я вижу тебя за столом в моей пижаме и тапочках, жующей апельсины и вареные яйца, складывая скорлупу аккуратными кучками. Ты причесала волосы, и они облепляют твою голову, словно шапочка для бассейна. Ты сплевываешь косточку в ладонь, говоришь мне, что я кричала во сне, и спрашиваешь, всегда ли я так делаю. Потому что в таком случае не лучше ли мне перебраться в отель, чтобы ты могла спокойно спать.

Между нами десятилетия дурных чувств, трясина недопонимания, пропущенные дни рождений, все мои годы с двадцати до тридцати, за время которых тебе отрезали грудь, а меня даже не было рядом. Я думаю о том, чтобы провести рукой

тебе по лицу, как ты иногда делала мне, когда мы жили над конюшней. Не сильно, но с чувством.

Ты очищаешь мне яйцо. И говоришь, что вспомнила кое-что.

Ты приподнимаешь халат, и я вижу кривой шрам на месте твоей левой груди.

Я ем яйцо. Что ты вспомнила? Что-нибудь насчет зимы с Маркусом?

Ты нетерпеливо машешь руками, а затем водишь ими по рту. Нет, нет.

О'кей, что тогда?

Ты прищуриваешься. Ты выглядишь как натуральная бродяжка, у которой я отняла вольную жизнь, с грязными ногтями и спутанными волосами. Я сижу и жду. У тебя, похоже, так много слов, что ты толком не знаешь, что с ними делать. И я тоже. Они сыплются из тебя.

Сара

Это начинается — как я теперь понимаю — с тебя. Это история — хотя я ее совсем не ожидала и не просила рассказать — о тебе и о мужчине, который мог быть моим отцом.

Тебе был тридцать один год. Шел примерно 1978-й. И, пусть ты этого не знала, на Сатурн был запущен космический корабль. Он обнаружил,

что эта планета настолько легкая, что, если поместить ее в огромный резервуар, она будет плавать на поверхности воды. Суточный цикл на Сатурне составляет менее десяти часов. В Оксфордском словаре английского языка впервые появились словосочетания «холодный звонок»[3] и «блокировка системы»[4]. Доктор из хирургического отделения, где ты работала регистратором, заметил — флиртуя, стянув у тебя дольку апельсина, который ты взяла на перекус, — что у тебя детородные бедра. Ты приторно улыбнулась, скрыв обиду. Ты поняла это в том смысле, что он считал тебя далеко не худышкой. Ты была маленькой, едва доставала ему до плеч, но ты не была худышкой. У тебя было коренастое тело; твоя пятая точка могла уравновесить рюкзак и пару ляжек размером с торсы некоторых девушек. Это было тело, вызывавшее — как ты быстро усвоила — определенное смущение, которое ты обращала в свою пользу. В школе у тебя были спортивные ребята, потные и неряшливые; ботаники, с обо-

[3] Примечания: 3

Предложение товаров и услуг по телефону без предварительного согласования.

[4] Примечания: 4

Английское слово gridlock (*букв.* затор) может применяться в отношении электроники (блокировка системы), экономики (цепочка неплатежей), дорожного движения (транспортный коллапс) и др.

жженными пальцами и челками; высокие парни и низкие, костлявые и мясистые. Твои годы с двадцати до тридцати — насколько ты понимала этот возраст — были созданы для мужчин. В основном для мужчин постарше. Мужчин, бывавших в барах, в которых бывала и ты; стоявших в ожидании такси, несших сумки с покупками или нагибавшихся завязать шнурки перед тем, как сесть в поезд, придержав для тебя двери. Таким мужчинам нравилось эспрессо, мясо по-татарски, миндальные бисквиты с белым шоколадом, им нравились иностранные фильмы с субтитрами, и они давали тебе читать книжки с заметками на полях, после того, как вы занимались сексом в их городских квартирах или лесных хижинах, или в загородных домах, коридоры которых были похожи на извилистые глотки, глотавшие и выплевывавшие тебя. Таким мужчинам нравились лифчики с тонкими бретельками, нижнее белье из черного шелка, кровати с витыми ножками, телефонные кабинки и бассейны.

К тому времени, как ты встретила Чарли, ты уже успела перебывать со множеством мужчин. У тебя вышла тягостная размолвка с профессором, который иногда заглядывал в кафе, где ты работала. Убеленный благородными сединами

профессор каждый раз после вашего соития сидел на краю кровати и слезно скулил. В последнюю встречу он сказал тебе на прощание, что больше не придет, потому что ты была похожа на его дочь. Обернулся в дверях и сказал — с мокрой физиономией, — что думал, что его дочь могла быть такой же шлюхой, как ты. Так-то вот. Ты дала себе зарок вычеркнуть мужчин из своей жизни. Все их мыслимые разновидности: в костюмах и галстуках, в медицинских халатах, в красных трусах и смешных носках. А в особенности мужчин старшего возраста, считавших, будто ты была им что-то должна — частицу своей молодости, которую они растратили впустую.

Ты устроилась работать в приемной у доктора, поскольку все это казалось тебе — белые стены и потолок, побуревшие от времени ковровые дорожки, пылесос, с которым ты каждое утро и вечер обходила все помещения, и голубые бумажные простыни, покрывавшие потертые кожаные столы для обследования, — таким местом, где напрочь отсутствует похоть. Даже сам доктор — настолько в твоем вкусе, что у тебя екнуло сердце, когда он вошел уверенной походкой в первый день, — воровавший у тебя дольки апельсина и втихаря угощавший джином из своей фляги, не

поколебал твоего настроя. Возможно, думала ты, тридцатые годы были порой воздержания. Как минимум до сорока. В квартире, которую ты снимала, были желтые обои в цветочек и матрас в разводах от прежних жильцов. Атрибуты жизни старой девы. Ты покупала китайские готовые обеды в магазине на первом этаже дома и ела их на скамейке через дорогу, глядя на проезжавшие мимо машины. Ты все время перекладывала с места на место канцелярские принадлежности в хирургическом отделении: красные колечки малярной ленты, скрепки, сыпавшиеся у тебя из рук, зубастый дырокол, делавший идеально круглые отверстия.

Как-то утром, одуревая от скуки, ты решила пойти на работу другим путем и, сойдя вихляющей походкой по узкой дорожке за мостом, стала неуклюже шагать на каблуках по прибрежной полосе вдоль канала. В маслянистой воде плавали утки, рядом с видавшими виды лодками, кабины которых были увешаны цветочными горшками. На полпути вниз по течению стоял зеленый баркас, и на его корме сидел мужчина, закинув ноги на борт, с чашкой кофе, остывавшей на палубе рядом. Он что-то стругал, но ты не видела, что именно. Потом ты будешь вспоминать этот

момент. Лодку, пришвартованную к слякотному, поросшему сорняком краю канала; длинные ноги долговязого незнакомца; перестук колес поезда, проходящего по мосту сверху, такой громкий, что на секунду он заглушил твои мысли об этом человеке, такие неотступные, что ты должна была бы сообразить, что это не сулит ничего хорошего. Ты не могла понять, что в нем такого. Он был слишком тощим и совсем не вызывал в тебе желания. Тем не менее. Ты поймала себя на том, что по утрам и даже вечерам стала ходить длинным путем вдоль канала. И каждый раз, проходя мимо лодки, ты шагала все медленней, пока наконец не остановилась совсем, и тогда он посмотрел на тебя.

Когда ты первый раз оказалась на его лодке, все было совсем не так, как ты представляла. Иногда он как будто переставал замечать, что ты рядом, и ты задумывалась, бывали ли здесь другие женщины, вот так же сидевшие, пока он ходил, занимаясь своими делами. Ты попросила у него чай, но он сказал, что у него есть только виски, и ты не отказалась. Ты заметила, что изучаешь его тело. У него был хозяйственный вид. Он часто подтягивал ремень брюк обеими руками, словно когда-то имел более крупные габариты.

Он говорил загадками, головоломками и аллегориями. И смеялся без умолку. Он строгал, сказал он тебе, блесну. Чего? Он не стал объяснять. Чаще всего, когда ты приходила, он готовил. Ты сказала ему, что не можешь сделать даже бутер, на что он звучно втянул воздух, поставил тебя к столешнице и дал в руку нож. Он сказал, что у тебя все выходило соленым оттого, что ты все время резалась. Он правил ножи на своем ремне. Все у него было слишком острым, но ты делала вид, что все нормально. В своей комнате, когда ты трогала себя, у тебя все горело от приправы на пальцах. Он научил тебя — долгими прогулками по дорожке вдоль канала под перестук колес поездов — курить.

Ты оставалась у него все дольше и дольше. Ты все реже пользовалась водой и электричеством у себя в квартире. Из приемной доктора больше не звонили. Он не просил тебя перебраться к нему, но почти каждую ночь он вдавливал тебя в матрас своим костистым телом, и ты осталась у него. Ты слышала, как дождь стучит по крыше лодки; слышала проносившиеся мимо поезда и его мерное сердцебиение.

Днем — помешивая здоровенные котлы с едой, приготовленной им, или загорая и куря на кры-

ше — ты часто что-то слышала. Что это было? Ты замирала настороженно или откладывала деревянную ложку. Что-то стонало внутри тебя, точно старый дом под натиском ветра или лодка, поднятая над водой сильным течением. Ничего подобного в тебе не пробуждали другие мужчины — ни их прекрасные тела, ни спокойные лица. Было что-то такое в очертаниях его тяжелых рук, в его позвоночнике, проступавшем через шершавую кожу, в лодке, качавшейся под ним. Он сказал тебе, что ему снилось, будто он ослеп, проснулся и не увидел ничего, одну сплошную черноту, снилось, как в его зрачки вонзалось острие иглы. Он любил тебя всей своей мощью, как никто другой. Или так подействовали на тебя годы воздержания? А может быть, годы чего-то еще.

Были девушки среди твоих сверстниц, которые так сильно хотели детей, что едва могли выразить это в словах — природный зуд. Ты была совсем не такой. Ты не рассматривала свое тело как какое-то средство воспроизводства, служащее кому-то, кроме тебя. Тебе были знакомы эти страхи, волнения из-за легких задержек. Только ничего такого не случалось, и у тебя все больше крепла уверенность, что тебе этого не дано; ты просто

не была устроена для этого. Какие-то машины предназначались для резки, наполнения или формовки чего-то, а другие — нет. Ты просто не предназначалась для производства младенцев. Более того, чем старше ты становилась, тем тверже понимала — в тебе не было этой решимости. Ты всегда была беглянкой, чуть что шедшей на попятную. За тобой словно тянулась дорожка из хлебных крошек, по которой ты могла вернуться к себе и подтвердить — возникни у тебя такое побуждение, — что ты ни от кого не зависела.

Тем не менее. Он иногда заговаривал о детях, о которых всегда мечтал. Ты ему не возражала. А он как будто не замечал твоего молчания. Он хотел детей с тех пор, как был мальчишкой, и собирался доказать, что способен на что-то лучшее, чем его родители.

Однажды утром: его оживленное лицо, его благодарные, умные руки, ты позволила ему выбросить пачку презервативов за борт. Уверена? — он спрашивал тебя снова и снова. Ты уверена? Правда была в том — его руки под тугой тканью твоих трусов, — что ты об этом просто не думала. Он мог этого хотеть до посинения. Ничего все равно не получится. В этом ты не сомневалась. Ты просто не была устроена для этого.

Ребенок возник в тебе — хотела ты его или нет. А ты продолжала считать, что это невозможно, до тех пор, пока не стало слишком поздно что-то с этим делать. Ты росла так быстро, что тебе казалось, словно что-то хищное разрастается в тебе, захватывая твое тело. Ты уже не могла с прежней легкостью двигаться по лодке; перепрыгивать с баркаса на пристань, открывать тяжелые замки. Ты не стала говорить ему, что никогда не хотела ребенка. Ты решила родить хотя бы ради него. Обычное дело. Такое случалось сплошь и рядом, без всякого умысла. У людей заводились дети просто потому, что двое образовывали нечто цельное. Ты решила завести ребенка, потому что он образовался отчасти из его отца.

Два
Ночью все теряется

Коттедж

Дом другой, когда ты здесь. Повсюду недопитые кружки и периодические набеги на холодильник среди ночи. Твой образ мыслей подмывает мой разум, так что я тоже путаюсь в днях, теряю счет неделям. Наши ссоры — как я ни пытаюсь избежать их — длятся ночи напролет, и под конец ты плачешь в ванной. Твои внезапные наваждения. Один день ты готовишь тонны карри, твои руки оранжевые от куркумы; но, закончив, ты слишком устала или тебе уже не до того, чтобы попробовать приготовленное. Другой день мы проводим у истока ручья, где ты пытаешься ловить рыбу руками, сидя часами на корточках в мелкой, еле текущей воде, хватая рыбу, которую я не вижу, если она вообще там есть. Ты также одержима мыслями о неизбежности, о предначертанности. Тебя преследует чувство рока, заставляя бродить, съежившись, по моему дому, ища убежища. Я знаю, говоришь ты, что случится.

Когда же я допытываюсь у тебя, все больше злясь с каждой секундой, ты только говоришь, что нам никуда не деться, что наш конец прописан в нас с момента нашего рождения и что любые решения, которые мы принимаем, — это только миражи, пустая видимость свободной воли. И мне хочется кричать на тебя, что это ты решила оставить меня, никто тебя не заставлял, нельзя раз за разом делать что-то плохое и называть это судьбой, или предопределенностью, или богом. Но иногда я задумываюсь, а что, если ты права и все наши поступки вырастают из всех поступков, совершенных нами в прошлом. Словно наши решения вылетают из нас точно осколки взорвавшихся бомб, заложенных нашими прошлыми действиями. Я не говорю этого тебе. И пытаюсь не слушать, когда ты говоришь, просто завариваю тебе чай и сплю, когда спишь ты, словно мать с новорожденным, за которым она еще толком не умеет смотреть.

Я думала о Маркусе, а когда я спросила тебя, помнишь ли ты первую встречу с ним, ты сделала вид, что не понимаешь, о ком я говорю. Только я вижу по твоим глазам и по тому, как ты сторонишься меня, что ты все понимаешь. Ко мне вернулось одно воспоминание. Я не знаю точно,

что оно значит, а когда рассказываю о нем тебе, ты злишься — и вот, окно разбито. Слесарь, пришедший его чинить, косится на тебя опасливо. Ты открываешь рот и громко клацаешь зубами, так что он подскакивает.

Я ела мужчин вроде тебя на завтрак, когда была в ее возрасте, говоришь ты, кивая в мою сторону.

Я едва слышу, что ты говоришь. Воспоминание накладывается на чумазый дом, твои скрюченные пальцы, новое стекло, открытый ящик слесаря с инструментами на столе.

Мне тринадцать лет, и я во власти твоих чар и разных слов, и сплетенных воедино берега и реки, и леса. Я верю, что нет ничего неизменного, что я могу менять что угодно, ловя нутрий, жаб, шустрых серых белок, мышей-полевок, долгоножек, головастиков. Зима уже подходит к концу, та самая зима, когда пришел Маркус — последняя наша зима на реке — и я лежу на животе на крыше нашей лодки, ночью. Завиток тумана перерезает деревьям колени. Лодка стоит не у берега, а на середине реки, но швартовые канаты туго натянуты, удерживая ее на месте. Я положила голову на сгиб локтя, и мое дыхание затуманивает круглое окошко в крыше. Кругом темно, только в лодке горит свет. Я помню, что

ты сказала мне, что тебе нужно кое-что обхекать, и попросила меня поспать на крыше. С тобой в лодке был Маркус.

Иногда я внутри себя. Я чувствую вкус коры, которую содрала с дерева и жевала, пока она не превратилась в кашу, вижу полукружья грязи под ногтями. Я гляжу вниз, в круглое окошко.

А иногда я стою на берегу, того же возраста, что и сейчас, когда ты в моем доме — подгибаешь пальцы на ногах в слишком тесной обуви, — и выискиваю твои следы: сигаретные окурки, хлебные корки, горелые спички. С берега я едва различаю себя-подростка на крыше лодки, положившую локти по обе стороны окошка и сосредоточенно глядящую вниз.

Там, в затуманенном стекле, что-то шевелится в свете свечей. Нечто с двумя головами и множеством конечностей елозит ими во все стороны. Я обхватываю лицо ладонями, опускаю его к самому стеклу и, вжавшись носом изо всех сил, задерживаю дыхание. Это Бонак?

Каждый раз, как я вот-вот пойму, что же я там вижу, я оказываюсь на берегу, теребя короткие волосы за ухом, зову на свист давно пропавшую собаку, пытаюсь вспомнить слова, без которых мы не сможем рассказать эту историю.

Слесарь что-то бубнит себе под нос, меняя стекло, и ты преследуешь его до машины, а когда он трогается с места, кидаешь камни ему вслед. Над холмами висит марево, и ты приходишь вся потная — под мышками и на груди темнеют влажные пятна. Ты говоришь, что тебе нужен лимонад. Тебе нужна сигарета. Тебе нужен шезлонг. Тебе нужно, блядь, побыть одной. Ты выводишь меня из себя. Твоя упертость. Ты злишь меня. Ты меня бесишь. Тебе здесь совсем не место.

Мне нужно забыть ту личность, какой ты была, и описывать тебя такой, какая ты теперь. Ты как будто не чувствуешь боли. Я вижу, как ты обжигаешь руку о чайник, но никак не реагируешь. Ты чрезвычайно восприимчива к малейшим шумам и запахам: раздражаешься на гудение ветра в дымоходе или на шум воды в трубах, отказываешься входить в комнату после того, как я готовила еду. Ты громогласно и самоуверенно говоришь об анатомии и болезнях. Я не знаю, сочиняешь ли ты это или действительно набралась таких знаний за прошедшие годы. Ты говоришь, что у меня дефицит железа в организме и, наверное, глютеновая болезнь. Ты держишь меня за руки и надавливаешь на кутикулы, что-то хмыкая и восклицая, оттягиваешь кожу у меня

под глазами. Нет такой темы, на которую бы ты не рассуждала — ты увлеченно рассказываешь мне о работе кишечника, о цвете своей мочи, дергая волоски у себя на подбородке. О сексе ты говоришь расплывчато, обобщенно. Объекты и люди перемешиваются в твоих предложениях, так что невозможно понять, говоришь ли ты об одном событии или о нескольких. Когда ты рассказываешь о мужчинах, кроме Чарли (человека на лодке), они у тебя безвольные, затюканные, иногда запуганные. Об одном из них ты говоришь с вялым сожалением. Моложе тебя, неопытный, рохля. Ошибка с самого начала. О других по большей части ты рассказываешь, как мне кажется, чтобы позабавить меня: они стучат головой в стену за кроватью, у них никак не встает или они слишком быстро кончают. Если я смеюсь, хотя бы чуть-чуть, ты довольно улыбаешься и даешь мне апельсин из миски с фруктами.

Но твоя деградация продолжается. Ты кричишь, чтобы я пришла, побыстрей. Когда я прибегаю, ты держишь мой большой Оксфордский словарь открытым и тычешь им в меня.

Я знаю, есть такое слово, кричишь ты. Я это знаю, я это знаю.

Я пытаюсь успокоить тебя. Ты ужасно взвинче-

на. Швыряешь словарь на стол, разбивая стакан. Лихорадочно листаешь страницы.

Я это знаю, я это знаю.

Что? Что за слово?

Ты злобно смотришь на меня, закусив губы, скрючив пальцы. Ты искала слово «эгаратизация», и оно означает исчезновение себя, избавление от своего прошлого. Я говорю тебе, что нет такого слова, и показываю в доказательство нужную страницу в словаре. Ты кажешься напуганной, ходишь по дому за мной, наступая на пятки, так что мы обе едва не падаем.

Тебя беспокоят короткие слова. *Кран, болт, шаг, ручка*. Ты произносишь их неправильно или употребляешь в каком-то странном смысле. *Ты можешь повернуть ручку на ванне, чтобы добавить горячей? Слишком вязко для меня*. Как правило, я никак на это не реагирую, и ты спокойно плывешь дальше. Я думаю, ты этого не замечаешь, но однажды я вижу, как ты на кухне вцепилась обеими руками в раковину и повторяешь на все лады слово «паразитарный». То пара-ЗИТАР-ный, то ПАРА-зитар-ный. Левой ногой ты отстукиваешь по полу слога. Сперва я не понимаю, что ты делаешь, но затем догадываюсь, что ты проверяешь свое отношение к этому сло-

ву, выискивая недостатки, готовясь к будущим потерям.

Ты точно знаешь, что с тобой происходит. Твой возраст подтачивает тебя как никого другого. Все твое невежество только для меня.

Дети должны уходить от родителей. Так должно быть. К тому времени, когда ты становишься родителем, ты должен уже пережить это, в чем бы ни была причина твоего ухода. Но родители не должны уходить от своих детей.

Мне нужно кое-что спросить у тебя, говорю я. Как думаешь, ты не будешь против?

С чего мне быть против? Ты качаешь головой. Ты как будто забыла всю свою прежнюю вспыльчивость.

А может, и правда не помнишь.

Ты не споришь со мной. Ты льнешь ко мне, по-свойски, но осторожно. Я чувствую пустоту на месте твоей левой груди.

Ты помнишь, говорю я, зиму, когда пришел Маркус?

Но сейчас же лето.

Да. А тогда была зима. Мы жили на реке. Ты помнишь? Я нашла тебя там пару дней назад.

Ты немного помычала, покачала головой, по-

хлопала меня по коленке. Я не отступала. Мы прожили там всю мою жизнь. Только ты и я. Но однажды пришел человек. Мальчик. И он остался с нами. Не очень надолго, от силы на месяц. И что-то было в реке, не знаю что. Я думаю, мы пытались поймать это.

Правда?

Да.

Я такого не помню.

А ты хоть что-то помнишь?

Ты пожимаешь плечами, запускаешь руки в карманы пижамы и вынимаешь их ни с чем. Ты раскрываешь ладони и показываешь мне. Я отвожу их вниз.

Ты помнишь, что случилось с Маркусом?

Ты берешь мою руку между своими и сильно трешь, а потом дуешь в щель, и я чувствую твое липкое дыхание на коже. Твои касания вызывают у меня шок. Когда-то я — даже не верится — обвивала руками твои ноги и зарывалась лицом в колени. Я приносила тебе найденное в лесу или в воде: речную гальку, листья щавеля, улиток, которых ты готовила с чесноком и маслом. Когда я была юной, ты высоко поднимала шланг, и мы вместе принимали душ посреди тропинки, твои пальцы распутывали колтуны в моих волосах,

словно разгадывая загадки.

Внезапно, как по нажатию кнопки, ты в полном сознании. Я вижу, глядя на тебя, что ты все понимаешь, что ты сознаешь все прошедшие годы и что они принесли с собой.

Я должна была понять, когда он впервые пришел, говоришь ты. И наклоняешь голову набок. В нем было что-то такое. Я думаю, что сказала себе, что это похоть, новый вид похоти, потребление. В нем было что-то знакомое, словно я любила его раньше. Я должна была понять.

Река

Начал больше, чем концов, вмещающих их. Где-то ты и отец, который мне не отец, лежите на узкой кровати, еще без страха, сомкнувшись долгой плотью к долгой плоти, устами к устам, как будто один из вас уже при смерти. Где-то я стою в словарном отделе, слушая гудки телефона в пустом морге. Где-то я открываю дверь в коттедж на холме, и ты проталкиваешься мимо меня, высказываясь насчет бежевых обоев, которые здесь с тех пор, как я тут поселилась, насчет заплесневелых водостоков и отсутствия пепельниц. *Ты не могла даже купить паршивую машину?* А где-то шагает Марго. Здесь я полагаюсь на воображе-

ние, на возможности. Я кладу ее слова за щеку и надеюсь, что она не будет против некоторых допущений, приукрашиваний. Где-то она шагает и, пожалуй, слышит меня, как многократное эхо, и думает: это не так. Слушай. Слушай — вот как это было.

В сумке у Марго была палатка, но Марго слишком устала, чтобы ставить ее. Она заползла поглубже в кусты. Там были скользкие листья, пустые пивные банки, белый шарик, попавшийся ей под хромую ногу. Сквозь забор она видела канал в колыхавшихся отсветах фонарей и светофоров, световые восклицательные знаки от фар машин, нараставшие и спадавшие, когда они проезжали по мосту. Она натянула на голову капюшон спального мешка. На исходе ночи какие-то люди пришли и устроились спать чуть дальше по тропе, под мостом, и она проснулась от того, что они переговаривались между собой. В первые моменты после пробуждения она забыла об этом. Потом вспомнила. И уже не могла заснуть. Земля подмерзла, и спальный мешок стал влажным. Она смотрела, как утренний свет разливается по грязной воде канала.

Она вывернула сумку, которую ей собрала Фиона. Не без сочувствия. Плитка шоколада, пакет

хлеба, несколько свернутых банкнот, пол-рулона туалетной бумаги и несколько тампонов. Палаткой давно не пользовались, и от нее пахло сыростью. Ей вспомнилось что-то, сказанное отцом, но не полностью; что-то о том, что даже самое малое достижение — это все же достижение. Она попробовала услышать, как работает ее тело, как бурлит в животе, словно в котле, вопреки всему. Стоило ей задуматься о том, что она делает, ее охватывал такой страх, что она цепенела. Она утрамбовала все обратно в сумку, расправила плечи и двинулась в путь.

Она шла два часа, а потом остановилась. По дороге над каналом шумно проносились в обе стороны машины и исчезали вдали; старые рельсы обрывались в воздухе; поля, которые могли быть посевными, были затоплены тинистым половодьем. Периодически — с каждым разом все реже — она петляла и поворачивала назад, туда, откуда пришла. Казалось уму непостижимым уходить из дома. Ее руки шарили по карманам, по жидким волосам, по левой, хромой ноге. Она закрывала глаза, представляя стены родного дома, вздымавшиеся вокруг нее, точно грудная клетка. И как захлопываются знакомые двери.

Четыре рыбака — штыри от их палаток оста-

лись воткнутыми в землю с прошлой ночи — так настойчиво предлагали ей бургер, которые они жарили в грязной сковородке, что она устроилась рядом с ними и ела руками непрожаренное мясо. А потом взяла второй. Рыбаки неспешно переговаривались. Она их почти не слушала. Не зная, чем еще заняться, она сидела с ними, пока совсем не стемнело, хоть глаз выколи, и их костерок стал ей казаться точкой света в бескрайней тьме. Она слышала, как какая-то живность из канала шуршит в колючих кустах. Она была совсем не готова к этому, ко всему этому. Она снова ощутила холодные лапы страха, плотно сомкнувшиеся у нее на висках, на груди. Она вдавливала кулаки в уши, пока это чувство не отпустило ее. Один из рыбаков внимательно смотрел на нее через костер.

Ты знаешь, спросил он, встретившись с ней взглядом, о водяном воре? Он живет в воде, но ходит по земле.

Его товарищи захихикали или зашипели сквозь зубы. Рядом с ними лежали их посохи, точно ружья. Их руки и лица лоснились от мясного жира. Их длинные ноги откусывала тьма. Один из них указал на сумки у них за спиной. Там виднелись чешуйчатые бока и кнопки рыбьих глаз.

Ночью все теряется, сказал он и поежился. Другие снова засмеялись, и она подумала, что они сочиняют байки, чтобы напугать ее.

Когда она пошла от них, то услышала, что они идут за ней, и юркнула в кусты, где обождала, пока они пройдут мимо, а затем, не утерпев, вернулась к костру. Она не знала, что они сделают с ней, если увидят, но явно ничего хорошего. Она подумала, что если что-то и терялось ночью, то явно не без их участия; подумала об их плотных карманах и о том, что они прятали в пластиковых сумках под рыбацким уловом. Она долго слышала их голоса, а потом они затихли, и не было слышно ничего, кроме плеска воды и шелеста кустов; лая лисы и уханья совы. В темноте у нее не получалось вставить как следует штыри для палатки, и она сдалась и снова легла спать в одном мешке, но, как ни пыталась, не могла заснуть.

Охота

Утром собака вскинулась в углу комнаты, как будто поняла, что дальше уже некуда. Вероятно, она, как и я, тоже ненавидела «Приют путника». Для меня всегда были за гранью понимания люди, любившие жить в отелях и хостелах или палаточных городках. Я не мечтала побывать в Италии,

в Перу или в Новой Зеландии. Я мечтала о комнате, в которой я буду знать все выходы и смогу пригвоздить шторы к стене. Дальше уже некуда, сказала я, и собака мне почти улыбнулась.

Я сидела в «Макдоналдсе» и искала тебя на своем ноутбуке. Всякий раз, как мимо проходили дети, они отдавали собаке половину бургера и большую часть мороженого. Я подумала, что с диетой у нее покончено. Я прониклась к ней благосклонностью. Я ответила на пару писем. Я уже должна была заканчивать работу над словом «взломать». Я уже должна была быть на работе. Но я не брала отпуск или больничный четыре года. Так что они подождут. Внезапно меня посетила мысль, что, может быть, я не вернусь и даже никому не скажу, и они меня больше не увидят. Я была такой же, как ты: не столько личность, как ходячая дыра.

На сайте издательства было мое фото: ослепленная вспышкой, зубная паста на воротнике джемпера, щербинка между верхними зубами. Там же был мой электронный адрес, а также рабочий номер телефона. Если бы ты хоть раз захотела найти меня, то нашла бы. Тебе бы это не составило труда. Но о тебе в интернете не было ничего. Я уже не раз тщетно пыталась найти тебя,

но наводила справки снова и снова. Собака сидела, выставив костлявые задние ноги, и ловила жареную картошку, которую ей кидал мальчишка через все помещение. Я делала вид, что собака не моя. Я выискивала тебя везде, где только можно. Это было все равно что искать тело в мутной воде, иголку в стоге сена — мартышкин труд; мне больше нравилось определение «бесплодные усилия». Ни малейшей зацепки, ни единого проблеска — ты не оставляла следов. Уже в который раз я терпела неудачу.

Я не замечала, как долго там просидела, пока не зажглись огни по фасаду автосервиса. Машины перемигивались фарами, выезжая задним ходом со стоянки. В автосервисах было что-то, напоминавшее реки. Ни там, ни там не жили благополучные люди. Я осознала это, только выехав оттуда.

Наконец-то я нашла хоть что-то. Возможно. Свет экрана был таким ярким, что резал глаза. Я закрыла ноутбук. Если бы я решила прекратить поиски, я смогла бы выйти на работу на следующий день. Я бы не стала обзванивать морги и больницы. Через год я бы забыла все, что начало возвращаться ко мне за последние несколько дней; через десять лет я бы даже не

смогла вспомнить твое лицо. К тому времени, как я бы состарилась, я бы выдумала себе совершенно другое детство, с опрятной матерью, которая умерла молодой, тихо и мирно. Что бы сейчас ни давило на меня, подчиняя себе мои чувства, со временем это должно было ослабнуть и пройти совсем. Ничто уже не будет теряться ночью. У меня в голове ты говорила: *Перестань кричать, Гретель, это просто сон*. Я была так взвинчена. Уже очень давно я не чувствовала ничего подобного. Я снова открыла ноутбук. Это была не ты. И не Маркус — о нем в интернете было не больше, чем о тебе, — но я нашла пару с такой же фамилией, жившую в городке неподалеку. Я ела чипсы горстями, заедая панику. Собака сидела рядом и смотрела на меня с открытой пастью.

Тебе будет плохо, сказала я и чуть не подавилась острым чипсом. Вероятно, думала я, Маркус знал, где ты была. Вероятно — я запихнула в рот полную горсть, и собака заскулила и повалилась на спину, — ты была с ним. Вероятно, к нему ты и ушла, с ним ты и была все это время.

Я нашла сведения о его родителях на нескольких сайтах. Достаточно для начала слежки. Женщину я нашла на сайте школы. Она была учительницей. Связанной с лесной школой; не

так давно ездила с учениками в Национальную галерею, на ферму. Она не походила на Маркуса. Я была разочарована. Также я нашла ее отзыв о ресторане на сайте «Трипадвизор»[5], где она указала полное имя и электронный адрес, словно в своей анкете.

Мы оказались здесь в четверг, к нашей полной неожиданности. Я заказала курицу. Муж заказал болоньезе. Дети также заказали болоньезе. Мы придем сюда снова. Я заказала немного вина и осталась довольна. Муж был не в восторге от официанта.

Помимо упоминания на «Трипадвизоре», об этом человеке мало что было в интернете — я не нашла ни фотографии, ни места работы. Только его отзыв на сайте автомехаников. Три звездочки и полное имя.

Разумеется, они могли быть кем угодно. Я сказала это себе вслух. Я сходила в машину, достала карту из бардачка и разложила ее на столе в «Макдоналдсе». Я помню, как ты говорила, что мы были нигде, что мы были за всеми пределами. Словно того места, где была пришвартована наша лодка, не было на картах; география была

[5] Примечания: 5

TripAdvisor, *букв.* «советчик по поездкам» (*англ.*) — американский сайт путешествий. Помогает спланировать поездку в любую страну мира.

неприменима к ней. Я съела второй пакет чипсов и скормила собаке четыре штуки. Они могли быть кем угодно, но — я склонилась над картой — они жили достаточно близко к тому месту, где мы останавливались на реке, чтобы быть родителями Маркуса. Так или иначе, это место все же значилось на картах.

Река

Что терялось ночью: прибрежная речная грязь, кролики в своих извилистых норах, болотные курочки, спавшие на нижних ветках, бродячие собаки, забредавшие куда не следует, вереницы рыб на рыбацких стоянках, серебряные крючки, соседские кошки и все, на что они, в свою очередь, охотились и что ели: мыши, слепые неуклюжие кроты, птицы со сломанными крыльями.

Следующий день местность, по которой шла Марго, стремительно дичала. Канал влился в реку под названием Айсис[6]. Очень холодную. Ее руки были в порезах от колючих кустов и в красных отметинах от крапивы. У нее кончился весь хлеб, и она пожалела, что расходовала его

[6] Примечания: 6

Приток Темзы в районе Оксфорда. В английском языке название реки — Isis (*англ.*) — омонимично имени египетской богини Исиды.

недостаточно бережливо. До того, как она ушла из дома, ее сны были четкими, точно автобусные расписания — в них были двери и прямоугольные стены, вещи, разрезанные на равные половинки, и миски с фруктами. Сон, увиденный ей прошлой ночью, был полон грязи, спутанных корней и пропитан влагой. Ей на ум пришли слова Фионы, услышанные перед тем, как она сказала ей уходить и собрала в дорогу сумку.

Она не сразу осознала, что кто-то идет за ней. Река имела свойство хватать звуки и выворачивать их. Не раз она как будто слышала, как ее зовет мать сквозь подлесок. Ее шаги казались громче обычного. Когда солнце поднялось высоко в небо, она остановилась отдохнуть. Однако звук ее шагов на тропинке позади смолк не сразу.

Она помочилась в какую-то нору в земле. Впереди с тропинки вспорхнула птица и, пропев, полетела над водой. Кто-то прочистил горло, но она осмотрелась и никого не увидела. Она подумала о водяном воре, жившем в воде и ходившем по земле. Она задумалась, как он должен выглядеть. Наверно, у него должны быть перепончатые руки и ноги, чтобы плавать, и тонкие пальцы, чтобы красть. Она подумала о рыбаках и о том, как они смотрели на нее поверх догорающего

костра, об их широких ладонях и смехе.

Она пошла дальше. Шаги, которые она слышала, были не ее. Они были четче и тяжелее и стихали на миг позже, чем она ставила ноги, и так же начинались. Тропа идет прямо, подумала она, значит, они попутчики. Только она в это не верила. За весь день она не видела никого, кроме цапель и полузатонувших барж.

Она шла, пока небо не стало клониться к воде. Ее страхи поднимались, точно колючки на кустах ежевики. Она жалела, что отправилась в путь, не научившись стольким важным вещам: как меньше бояться, как разводить костер, как говорить с незнакомцами. Она жалела, что не знает, как себя вести, если кто-то тебя преследует. Листва с краю тропы расступилась, открыв проход. Она проскользнула сквозь листву и пошла вдоль берега, поскальзываясь и чуть не падая, раскидывая руки, сжимая кулаки. Она припала к земле и легла плашмя на живот. Посмотрела через склон, за которым шла тропа.

Это был один из рыбаков. Она не узнала его лицо, только увидела знакомый цвет непромокаемой куртки. Он нес металлическую коробку, в которой что-то громыхало. Он остановился и, казалось, стал рассматривать ее следы в грязи. Его

тело внушало ей страх. Он занимал больше пространства, чем, как она думала, ему полагалось. Она опустила голову в сырую листву и задержала дыхание. Он долго шел за ней. Другие рыбаки — она в этом не сомневалась — ждали его вместе с ней. Он был точно водяной вор: брал что хотел, жил на воде, но выбрался на землю и шел за ней.

Чтобы успокоиться, она стала вспоминать все, что любила в доме: круглые ручки посудомоечной и стиральной машин, ровные края рожка для обуви, яблоки с веток, когда они были слишком твердыми, чтобы есть их, и падали от сильного ветра. Что-то двигалось по земле. Она представила, что глаза мужчины были как два зеленых мраморных шарика, а его руки сужались, словно щупальца моллюска. Послышался какой-то шум, ближе, чем раньше. Она подняла голову над руками. Мужчина ушел, но там было что-то другое. Последний дневной свет просачивался через кроны деревьев и бросал обширные тени от ветвей и животного, стоявшего на склоне. Она почувствовала запах смолы от древесной коры. Земля кишела мокрицами и сороконожками, а по ее руке ползла ночная бабочка. Зверь на склоне был длинней, чем человек, вставший на четвереньки. Она закрыла глаза и стала думать

о симметрии дорожных фонарей, о сердцевинах фруктов, о стрелках часов. Когда она снова взглянула наверх, что бы там ни было раньше, теперь исчезло. Марго долго лежала, не шевелясь, и чувствовала, как холод проникает в суставы, в пальцы. Ее разум пытался подыскать логическое объяснение увиденному. Она думала: это был барсук, это была лиса, это была всего лишь тень дерева. Но она знала, что виденное ею существо не было ничем из этого. Это был водяной вор.

В какой-то момент она поднялась, надела рюкзак и пошла дальше. День клонился к вечеру, и все казалось совсем другим, невозможным. Каждое дерево было мужчиной или тем существом, что возникло после. Она втянула голову в капюшон и побрела, насупившись. Она клевала носом на ходу, так что река закружилась, словно веретено, повисла над ее головой и была готова упасть.

Постепенно стали возникать промышленные объекты: пустые газгольдеры, просевшие на металлических каркасах, бетонные трубы. Загаженные окраины какого-то городка: домики с террасами рядом с железной дорогой, отражавшейся в окнах, грязная мелководная речушка, лодки, стоявшие впритык одна к другой, тонкие деревья с ободранной корой.

Она прошагала несколько часов, и ее хромая нога перестала слушаться, так что она присела у изгороди. От некоторых лодок поднимался дым. Первые заморозки уже тронули деревья. Она слышала, как ветви стучат друг о друга.

Небо красное под вечер, сказал мужчина на лодке, стоявшей ближе всех к ней, пастуху живется легче[7]. Я это чую.

Она подтянула колени к груди. Он стоял на корме лодки, не глядя на нее, увлеченно вертя что-то в руках. Под полями его шляпы она видела затененный выступ крючковатого носа, мешки под глазами. Под бортом лодки плескалась темная вода. Она старалась не смотреть на нее и не думать о том, что услышала от рыбаков о водяном воре; и о том, что она видела между деревьями.

Не май месяц, сказал мужчина на лодке, продолжая вертеть что-то в руках. У меня бараний передок и немного хлеба, я сам его испек. Могу заварить чай, если будешь пить.

Ну уж нет, подумала она. И стала собирать сумки и щипать ноги, возвращая им чувствительность. Мужчина отложил то, чем был занят,

[7] Примечания: 7

Старинная английская пословица. Целиком ее перевод звучит так: «Небо красное под вечер, пастуху живется легче. Небо красное под утро, пастуху живется трудно».

и склонил голову набок, словно прислушиваясь к чему-то, неслышному ей. Она поднялась и начала идти.

Он сказал, что это не обязательно. И, ссутулив костлявые плечи, исчез в кабине баркаса.

Она стояла в ожидании и сомнениях. С одной из фабрик за ее плечом доносились громкие протяжные звуки. Она чуяла запах жженого сахара. Когда она стояла, голод ощущался отчетливей, тянущей воронкой в животе. Краска на лодке так облупилась, что она не могла понять, какого она была цвета — потрепанная, ржавчина вдоль бортовой перемычки, сползающая потеками к воде. В убывающем свете дня она различила пару чайников, висевших на корме, но не увидела в них никакой травы. Мужчина вышел на палубу. Ей нужно было уходить, она это понимала. Она тронулась с места, ускоряясь с каждым шагом, подволакивая ногу, уже боясь, что он пойдет за ней, как тот рыбак.

Все в порядке, сказал он, я поставлю на берегу. И отойду подальше. Отойду назад на лодку.

Она остановилась. Он неуклюже слез с края лодки, прошел пару метров, нагнулся и, поставив котелок, отошел назад. От котелка шел пар. Она подошла к нему, не сводя глаз с мужчины, и,

взяв котелок, вернулась в кусты. Первый глоток обжег горло и язык. И она запихнула в рот хлеба. Жаркое было вкусным и горячим, баранина была нарезана большими кусками, с жировыми прослойками. Хлеб, бледный и пористый внутри, был с темной корочкой толщиной с ее большой палец. Она съела все, а потом подняла котелок и облизала края до последней капли. Выглянув из кустов, она увидела рядом кружку горячего чая, которую мужчина вынес, пока она ела. Она взяла кружку и присела с ней, сжимая в руках, пока ей не стало казаться, что у нее плавятся отпечатки пальцев.

Слишком слабый?

Она покачала головой.

Что?

Нет.

Я только и делаю, что ем. Он обхватил пальцами запястье одной руки. Оно было тонким, точно водопроводная труба. Когда я не рыбачу, я весь день готовлю, а потом весь вечер ем. Я ем за пятерых. Или шестерых. Иногда мне кажется, что внутри меня шестеро мужиков, как птицы, разевают рты. Я все ем и ем, чтобы накормить их, а сам — видишь какой. Понимаешь?

Он поднял то, что держал до этого в руках, и

показал ей. Это приманка, сказал он. Я вытачивал ее. Знаешь, что это?

Нет.

Он накрыл ее ладонями и повертел между пальцами. Это как блесна, поплавок. Цепляешь к концу прута и удишь рыбу. Я ее обдумывал, как будет лучше. Большая, видишь? Он взвесил ее в костистых ладонях. На такую можно будет поймать что-то крупное. Я делаю резьбу на ней. Он взял нож и показал ей.

Она уже не боялась его. У него, казалось, было больше слов, чем он мог удержать в себе, и ему было некому отдать их.

Еще? Он поднес ко рту воображаемую кружку.

Да, сказала она и, пройдя пару шагов, поставила кружку на землю. Он сошел на берег, и она отметила, как неуклюже он шагает, выставляя сперва одну ногу вперед, словно ощупывая землю. У нее даже мелькнула мысль, что он передразнивает ее, как это делали другие. Его нога задела кружку, чуть не сбив ее. Когда он, взяв кружку, шел обратно, она услышала его хриплое, тяжелое дыхание. Вода потеряла цвет. Как и небо. Похолодало, словно включили кондиционер.

Я заварил теперь покрепче, сказал он, ставя кружку на землю в паре метров от лодки. Не знаю

твоих предпочтений. Но, думаю, не закабанеешь, усмехнулся он. Я и пытаться перестал. Не знаю твоих предпочтений. Меня зовут Чарли. А тебя?

Она замялась. Ей не хотелось называть ему свое настоящее имя, хотя она не знала почему. Маркус, сказала она. Он как будто не услышал. У него под мышкой была книга, которую он протянул ей. Было уже так тускло, что она не разобрала названия.

Я в них не разбираюсь. Даже если бы мог читать, сказал он.

Что это?

Вопросы. Трюки. Когда я был в твоем возрасте, мог щелкать их только так. Он поднял руку и щелкнул пальцами. У мальчишек талант к таким вещам — к логике, всяким задачкам. У меня никогда не было сына, но если бы был, он бы умел разгадывать загадки.

Он вернулся на лодку, держа книгу под мышкой, шаря перед собой другой рукой. Она поняла, что он слепой. Он неуклюже уселся, расставив длинные ноги.

Ты разбираешься в этом?

Я не знаю, сказала она.

Я запомнил парочку. Попробуй вот эту. В лесу, неподалеку от Пуатье, стоит амбар. Амбар пустой,

не считая повешенного, который болтается под потолком. Веревка вокруг его шеи десять футов в длину, а его ступни в трех футах над полом. Ближайшая стена в двадцати футах от повешенного. Вскарабкаться по стенам или балкам невозможно. Человек повесился сам. Как он это сделал?

Я не знаю.

Он покачал головой. Вот и я не знаю. Он стукнул ногой о край лодки. Видишь? Они непростые.

Может быть. А другую ты помнишь?

Другая оказалась такой же трудной. Она не знала ответа. Как и он. Он снова взял блесну и продолжил вырезать ее. Он был кожа да кости, но его руки выглядели сильными и умело обрабатывали деревяшку. Чуть позже он вынес пару одеял и положил на землю.

Больше я ничего не помню, сказал он. Может, ты еще вычитаешь?

Книгу он тоже оставил на земле. Из лодки на землю падал квадрат света. Она вошла в него вместе с одеялами, открыла книгу и стала медленно читать.

Есть две сестры: одна рождает другую, а та в свою очередь рождает первую. Кто эти сестры?

Она опустила голову на треугольник своих рук. От одеял пахло старым дымом и луком. Она поду-

мала, что, возможно, знает ответ, пусть он и вряд ли подойдет. Он кружился вокруг нее и дразнил.

Охота

Кривоногий механик двигался с таким трудом, словно недавно вернулся из космоса. Я подумала, что он наверняка откажется назвать мне адрес, но он, похоже, не имел ничего против и написал его на клочке газеты. Даже когда я приближалась к конюшне, где мы с тобой жили, у меня не возникло того ощущения, что я была ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы найти тебя.

Я с собакой обошла пару раз квартал, набираясь решимости. Все дома выглядели одинаково. Собака увидела белку и бросилась вдогонку. Я быстро пошла за ней и увидела нужный номер дома. Теперь отступать было некуда. Мужчина, открывший дверь, держал в обеих руках груду игрушек и стаканов, торчавших в разные стороны. У него были треугольные залысины и бисеринки пота на лбу. Ничего не спросив, он пригласил меня жестом войти. Может, у меня такое располагающее лицо? Собака влетела за мной, и нас окружили дети. Я подумала, что сейчас собака укусит кого-то из них, и нас быстро выпроводят. Барбосина! — выкрикнул кто-то из детей. Но

мужчина позвал меня на кухню и закрыл дверь. Он предложил мне кофе, а затем заварил чай, совсем слабый, с большим количеством молока. Он не был похож на Маркуса. На щеках у него проступала сетка вен, а нос торчал точно утес. Он тяжело вздохнул.

В общем, посудомойка сломана уже почти неделю, сказал он. Я думаю, может, из-за трубки? И он впервые по-настоящему посмотрел на меня. У меня на одежде висела сопля, и что-то налипло на туфлю. Так вы пришли не по поводу посудомойки?

Нет, сказала я. Извините.

Ничего страшного. Вчера они тоже не пришли. Я предлагал вам кофе?

Я подняла свою кружку и сама не заметила, как выпалила одним духом:

Я знала вашего сына. Я познакомилась с ним на канале, но уже давно не видела. Я подумала, что он мог вернуться сюда. Я ищу свою мать и думаю, что он может знать, где она.

Еще до того, как я договорила, мужчина уже качал головой. Его руки мелко задрожали, как у эпилептика. Вы ошиблись. Он открыл кухонную дверь и указал в гостиную. Дети лежали щекой к щеке на полу, на их поднятых лицах мигал

болезненный свет телевизора. Только один из них катался по ковру в съехавшем подгузнике, а собака нюхала его ногу. Мужчина указал на него. Его зовут Артур, в честь моего деда. Все другие девочки.

И других детей у вас нет? Постарше. Он хромал. Я непроизвольно стала изображать хромоту, но одернула себя. Я была уверена. Ну ничего. Я посвистела собаке, но ей, похоже, было не до меня. Не волнуйтесь, сказала я. Вы правы. Должно быть, я ошиблась. Не буду вас дальше беспокоить.

Я уже была почти у двери. Есть такое русское слово, которое означает «резко вставать друг за другом»: *повскакать*. Даже сейчас я мысленно вскочила вслед за тобой. Я была у двери, поворачивала ручку и звала собаку, чьего имени не знала. Собака, звала я.

Вы сказали, хромал? — переспросил мужчина.

Я обернулась. Собрались все дети, сложив руки перед собой.

Да, сказала я. На левую ногу. Он подволакивал ее.

Мужчину звали Роджер, и, судя по тому, как он направлял ко мне детей с различными заданиями — стаканы воды, поджаренные хлебцы с маслом, — он хотел, чтобы я дождалась, пока

вернется его жена, которую звали Лора, как он сказал. Я смотрела, как он двигался, набирая полные руки посуды, грязных подгузников, упавших игрушек — и пыталась увидеть в нем черты Маркуса. Ты помнишь, как он выглядел? Выше тебя, даже ссутулившись, темные волосы, стриженные под горшок, беспокойные глаза. Ты говорила, что у меня такие же глаза, как у него, с набрякшими веками, словно вычерченными раньше нас самих. Кто-то из детей громко сказал что-то мне под руку.

Что?

Как зовут вашу собаку? Это была девочка. Ее волосы, собранные четырьмя или пятью пучками на макушке, торчали в разные стороны. На ее платье была нарисована смущенная овечка.

У нее нет имени, сказала я и стала отчаянно соображать, как себя вести в разговоре с маленькой девочкой. А как бы ты хотела ее назвать?

Такая ответственность повергла ее в ступор, и она стояла и молчала. Другие дети принялись с готовностью предлагать варианты, перебивая друг друга. Роджер стоял у окна и смотрел на улицу. Волосы у него на затылке были чуть длиннова-ты. Я никогда не умела ладить с детьми, и они, похоже, это понимали, проявляя ко мне повы-

шенное внимание. Они составили то, что считали кратким списком подходящих для собаки имен, очень длинным и состоявшим в основном из названий других животных: додо, киска, свинка. Я пыталась отвязаться от них, перемещаясь по комнате. По всем углам были рассованы игрушки вместо привычных мне бутылок алкоголя. На всех ящиках стояли замки от детей, но прятать там было нечего. Одна из девочек взяла меня за руку и держала железной хваткой, невзирая на мои попытки высвободиться. Цивета, сказала она, цивета подходит?

Тебе нужно в ванную? — спросила я. Она не ответила, однако мы пошли вверх по лестнице, держась за руки. Поднявшись наверх, я внезапно испытала тревожное ощущение, что ошиблась, поняла все неверно. Сколько детей должны пропадать, уходить из дома каждый год? Кругом был бардак, куклы с оторванными головами, дыры в стенах, ручка на двери в ванную была сорвана. Девочка привела меня в свою комнату и стала показывать всякие вещи. Я вышла в коридор и, пройдя до конца, сама не заметила, как оказалась в большой спальне. Там были фотографии Роджера с какой-то женщиной, по-видимому, Лорой. Они были моложе, в цветастой одежде. Я стала

шарить по вешалкам в их гардеробе. На дальней стене я увидела еще одно маленькое фото, в зеленой рамке. Я подошла к нему. Ребенок на фото отвернулся в сторону, выставив руку в камеру. И все равно я его узнала. Овал лица, край носа и губ, даже его осанка. Это был Маркус. Только волосы здесь у него завивались и были длиннее, чем когда мы знали его.

Это спальня папы и мамы, сказала девочка, стоя на пороге.

Я задержала дыхание. Я это поняла.

Мы пошли вниз по лестнице. Но она решила — сила внушения, — что ей все же нужно в ванную и что мне нельзя оставаться одной.

Ты здесь раньше не была, сказала она.

Не помню, чтобы я ребенком была такой рассудительной. Я помню, как ты говорила мне, что я была неисправимой врушкой, и я поражалась этому. Мне никогда не приходило в голову, что мои рассказы были враньем. Возможно ли, что и ты подобным образом относилась к своему исчезновению? Возможно, тебе и в голову не приходило, что ты бросила меня.

Нет.

А вы придете сюда завтра?

Наверно, нет.

Вы могли бы отводить нас в школу.

Могла бы, если бы была здесь.

Меня зовут Вайолет. А тебя как зовут? Ты Марго?

Я открыла шкафчик над раковиной. Кто такая Марго?

Глупая, сказала она, качаясь сидя взад-вперед, елозя пухлыми ножками по стульчаку. Марго — это мамина первая девочка. Она взрослая и ее с нами нет, но она бы любила нас. А ты любишь нас?

Я посмотрела на нее. Она пристально уставилась на меня, уперев локти в коленки. Теперь мне надо подтереться.

Ну давай. А ты когда-нибудь видела Марго?

А ты? — сказала она.

Да, я так думаю.

Она отмотала столько бумаги, что хватило бы на трех больших детей. Мне вдруг пришло на ум, что она, возможно, еще не научилась подтираться, и я невольным образом прислуживаю ей вместо кого-то из родителей.

Мы с ней никогда не виделись, потому что ее с нами нет.

Она умерла?

Она соскочила с унитаза и задрала подол своего

платьица. Что значит, сказала она, подняв на меня глаза, умерла?

Я сделала вид, что не услышала ее.

Спустившись вниз, я стояла рядом с Роджером у плиты, и мы смотрели, как рыбные палочки, которые он приготовил детям на ужин, исчезали под столом, где лежала собака.

Цивета, говорила Вайолет, цивета, хочешь палочку? Цивета, цивета, цивета.

Я присела рядом с собакой. Ну что, Ивета? Собака взглянула на меня и отвернула морду, как бы в раздумье. Роджер держался молодцом, и краснота сошла с его щек. Я смотрела, как дрожат его руки, и думала, поняли бы вы с ним друг друга? Как понимают друг друга люди, отказывающиеся от выпивки в пабе.

Марго — это Маркус? — сказала я.

Он, казалось, совсем не удивился тому, что я знала это. В этом доме, по-видимому, ничто не могло держаться в секрете слишком долго. Я видела, как Вайолет поглядывает на меня, поедая свой горошек. Она думала, как я поняла, что мы стали в некотором смысле союзниками.

Я не знаю, сказал он. Может быть. У нее была хромота. С самого начала. С тех пор, как мы нашли ее.

Что значит *нашли*?

Он очень осторожно закрыл глаза и стоял так какое-то время. Раздался звук открываемой входной двери. Дети сорвались с места точно команда по регби, и Ивета бросилась за ними, залаяв. Я услышала голос женщины, спрашивавшей, чья это собака. Лицо Роджера слегка расслабилось. Мы прошли в гостиную. Женщина поставила сумку на пол и смерила меня взглядом. Что происходит? Дети сгрудились вокруг, устроившись на подлокотниках дивана.

Она здесь насчет Марго, сказал Роджер. Она знала ее.

Марго, воскликнул кто-то из детей, и другие подхватили клич.

Женщина подняла руки. Все, заорала она, в кровать.

Я прождала одна внизу почти час. Ивету я выпустила в сад, а сама легла на один из шезлонгов и стала слушать приглушенные шумы этого дома. Я всегда чувствовала, что наши жизни могли бы пойти по множеству разных путей и что ты своими решениями направляла их в ту или иную сторону. Но, может быть, и не было никаких решений; может, не существовало других возможных исходов. В любом случае я не могла бы

представить нас с тобой в доме вроде этого, хотя, возможно, временами ты и подумывала о чем-то подобном. О доме у железной дороги, с садиком, где ты могла бы встречать меня из школы. На миг мне показалось, что я увидела свет в окнах сарая с краю сада, но потом он пропал, и я решила, что это было просто отражение от окон дома.

Пришла Лора и встала у шезлонга. Глядя на нее снизу вверх, я поняла, что она была старше, чем мне показалось, хорошо за пятьдесят, слишком старой для таких маленьких детей.

А я думала, сказала она, придет ли кто-нибудь? И скажет что-то, чего я не хочу знать. Вам знакомо это чувство, словно едешь на одном заднем колесе?

Мне хотелось сказать ей, что она бы не поверила, насколько мне это знакомо, но вместо этого я сказала, что, кажется, да.

Мы так и не смирились с этим. Поэтому и рассказали детям о ней. Потому что мы все время о ней думали.

Она не была она, когда я с ней познакомилась, сказала я.

Лора покачала головой. Что ж, она хромала? Подволакивала ногу?

Да.

И она была немного заторможенной, говорила с задержкой?

Да.

Она изучала меня. Вы моложе ее.

Я была еще ребенком, лет тринадцати, если правильно помню. Я жила с матерью на лодке. Маркус, или Марго, была с нами одно время зимой, примерно месяц.

Это была она.

Может быть, сказала я.

Повисла тишина, затянувшаяся до напряженности. Собака шарила по тенистым кустам, что-то вынюхивая.

У вас много детей, сказала я. И подумала, что лучше бы я промолчала.

Она присела на край шезлонга. Она сидела вплотную ко мне, сложив руки на коленях.

Мы пробовали после того, как ушла Марго, завести своих детей, но было слишком поздно или для начала мы просто не могли. Без детей нам жилось плохо. Но прошло немало лет, прежде чем мы это поняли. Так что потом мы взяли приемных. Я раньше думала — особенно первое время, — вдруг Марго вернется и решит, что мы нашли ей замену.

Она встала и посвистела Иветe, устроившейся в

грязи на одной из клумб, потом подошла и стала махать в ее сторону ногой, пока она не стала рыть землю. Лора засунула руки в карманы и стояла, глядя на собаку. Я думала о Маркусе и о времени, что я провела с ним на реке, и Лора, вероятно, думала о том же, поскольку спросила:

Что с ней случилось?

Я сделала глубокий вдох и попыталась придумать подходящий ответ, что-нибудь как минимум утешительное. Но ничего не придумала. Не знаю, сказала я.

Река

Утром Марго и Чарли сидели на тропе и ели плотные лепешки, так щедро сдобренные чили, что тесто было красным, а у Марго потом час слезились глаза. В основном он говорил, а она слушала. Он рассказывал ей о своей молодости, как он плавал по каналам вплоть до бирмингемских шлюзов; через эстуарий Северна[8], с юга на север и с севера на юг, насколько было в человеческих силах. Но по большей части он держался тех мест и ходил взад-вперед по испытанным

[8] Примечания: 8

Самая длинная река в Великобритании. Длина течения составляет 354 км.

маршрутам.

Его зрение ухудшалось медленно. Сперва, сказал он, появилось мутное пятно в правом глазу, у нижнего края. Какое-то время, пожалуй, с неделю, он думал, что это что-то плыло за ним по воде, сохраняя дистанцию, или дым тянется от костра с берега. Только затем то же самое стало твориться и с другим глазом. Туман сгущался, и однажды он не заметил, что держит курс прямо вместо того, чтобы взять в сторону, и врезался в другой баркас. И тогда он понял, что скоро совсем ослепнет. Он укрепил фонарь на носу лодки и правил сквозь тьму, день за днем. Это было все, что он знал. И он продолжал плавать до тех пор, пока мог видеть хоть малейший проблеск света.

Однажды утром он проснулся слепым и больше не мог править лодкой.

Он обхватил руками свое запястье, показывая ей, какие они у него тонкие; и снова заговорил о блесне, которую вырезал. Он сказал, что ему очень хочется плавать.

Зачем? — спросила она.

Что зачем?

Зачем столько плавать?

Она подумала, что он, пожалуй, не ответит, и ей стало неловко за такой вопрос.

Я искал кое-кого, сказал он наконец. Искал все эти годы. Больше он ничего не сказал. Только пробурчал что-то и отвернулся.

Ты простужена? — спросил он, когда она шмыгнула носом.

Да.

Высморкайся на берег.

Она сделала, как он сказал, наклонившись над грязной тропой и зажав одну ноздрю.

Какого цвета? — сказал он.

Зеленого.

У тебя инфекция. Давай на лодку.

Он забрался на лодку, не дожидаясь ее. Она его уже не боялась. Может, из-за его слепоты, а может, из-за той грусти, с которой он сказал о том, как тщетно искал кого-то долгие годы. Лодка была очень опрятной, все на своих местах. На стене висели четыре сковороды, стояли кружки с ложками и вилками. Она почувствовала облегчение, оказавшись на лодке. Водяной вор жил в воде и ходил по земле, но она не думала, что он заберется на эту лодку. Она сделала, как сказал Чарли: вскипятила воду на газовой плите, налила в миску и наклонила к ней лицо.

Потом она сидела и смотрела, как он готовил. Он заготавливал специи в масле, и они были

такими острыми, что по кабине плыло знойное марево, и они оба кашляли и отплевывались, выходя на палубу вдохнуть воздуха. Он сказал, что это свиная грудинка, и показал ей жировую прослойку. Он обращался к ней «сынок» или «дружок», и она поняла, что он не знал, что она была девочкой. Как-то раз, когда она была совсем еще подростком, Роджер — ее отец — вместо того, чтобы вести ее в парикмахерскую, надел ей на голову миску и срезал волосы по ровной линии. Несколько недель после этого, ловя с тревогой свои отражения, она поражалась, насколько она сделалась похожей на соседского мальчишку. Без всяких усилий с ее стороны.

Они сидели на палубе и пили чай, который она заварила.

Я ищу свою дочь, сказал он посреди разговора о чем-то совсем постороннем. Она застыла в ожидании. Было похоже, что она не ослышалась, потому что он замолчал, легонько покачиваясь вместе с лодкой, словно они составляли единое целое. Я ищу ее уже десять лет. Может, дольше. Ее забрала мать. Совсем маленькую — она меня никогда не обманывала.

Он вылил остатки чая в воду. В небе обозначились созвездия. Лора — ее мать — однажды

пробовала научить ее названиям созвездий, но у нее не получалось их запомнить, кроме отдельных фрагментов: медведица, пес, звезда-отшельница. Она скучала по родителям. Это чувство отдавалось у нее в запястьях и лодыжках и в основании языка. Она почти не слышала, что он говорил.

Что?

Я сказал: куда ты направляешься?

Небо качнулось ей навстречу. Ей не хотелось говорить ему то, что она услышала о себе; то, что она бы совершила, если бы осталась со своими родителями. Однако было невозможно не сказать ему ничего в ответ на его откровенность.

Ты веришь, сказала она, что, если бы ты знал, что должно произойти, ты смог бы не совершать этого?

Что ты хочешь этим сказать?

Мысль металась у нее в голове. Она не знала, как высказать ее вслух. Она не думала, что ей когда-нибудь придется сделать это — выразить ее в словах. Не становилась ли произнесенная мысль реальней, чем мысль у тебя в голове?

Как ты считаешь, жизнь — это прямая линия?

Линия? Он, казалось, задумался. Нет. Жизнь — не линия.

Мог бы ты, сказала она и подумала, что, возможно, ей не стоило этого говорить, изменить случившееся, если бы ты знал, что у тебя заберут дочь? Если бы кто-то тебе сказал, что произойдет?

Я бы это изменил, сказал он. Я бы остановил ее.

Она видела облачко дыхания между ними. Кость в ее хромой ноге ощутила холод и заныла.

Как я это вижу, сказал он, жизнь — это вроде спиннинга, катушки. Как планета или луна, вращающаяся вокруг другой планеты. Понимаешь?

Да, сказала она, хотя не была уверена в этом.

Жизнь такая. Иногда она повернется в какую-то сторону, но только на секунду, а потом как закружится — и кружится, вращается вокруг своей оси, так быстро, что ничего не видно. Только иногда ты ловишь проблеск и тогда понимаешь: вот, как бы оно было, если бы что-то пошло по-другому, вот как бы все могло быть.

Они сидели молча. Слышались звуки реки, клохтанье какой-то неизвестной ей птицы чуть ниже по течению, голоса людей с других пришвартованных лодок. Она видела очертания фабрик на фоне темнеющего неба, городских окраин.

Так что ты собиралась сделать? — сказал он.

Она держала эту мысль, точно щипцами, в своей голове. Слова, составлявшие ее, были опутаны колючей проволокой и жглись как угли. Кое-кто сказал, что я сделаю кое-что с родителями, если не уйду от них, сказала она.

Он немного помолчал, словно обдумывая что-то, а потом сплюнул за борт.

Вдоль реки шла железная дорога, и она проснулась в палатке от проходившего мимо поезда. Ей было трудно — лежа без сна, чуя холод под одеялами — не думать о том, почему она ушла из дома. Она поднялась и расстегнула тент настолько, чтобы видеть небо в звездах, частично перекрываемых городскими огнями. Тропа была черной, словно вода.

Она бы вернулась, не сказав ничего, в дом у реки, с садом, сбегавшим под уклон к каналу. То, что ей сказали, было не истиной, а только предположением о том, как все может повернуться. А если она знала, что ее ожидает, она была уверена, что сможет этого избежать. Как аварию на дороге.

Прошел еще один поезд, так близко, что она почувствовала волну воздуха. Увидела ярко освещенные кабинки за окнами вагонов, лица пассажиров.

Она застегнула тент. Натянула одеяла на голову. Она всегда верила, что некоторым людям было дано знать больше, чем другим, и один из таких людей сказал ей, что она сделает. Если Марго вернется, она убьет своего отца. Если она вернется, она… Но о втором она не могла даже подумать. В языке не было таких слов, чтобы заполнить пустоты у нее за щеками. Это было словно пыль на вкус, словно скисший йогурт или горелый хлебец.

Охота

Я сидела за столом на кухне у Роджера и Лоры и слушала их рассказ. Монитор теленяни издавал статические шумы, то проясняясь, то мутнея. Родители испытывали чувство очищения, облегчения. Им так долго хотелось рассказать кому-то все это, выложить на стол перед собой и рассмотреть со стороны.

Когда Лоре было слегка за двадцать, умерла ее древняя тетушка, оставив ей в наследство гору ящиков с подшивками «Частного сыщика»[9],

---

[9] Примечания: 9

Private Eye (*англ.*), английский сатирический журнал. Специализируется на скандальных историях об известных политиках и сильных мира сего. Издается с 1961 г.

рассыпавшимися чайными пакетиками и пожелтевшими платьями, а также этот дом. Здесь все отсырело, и некоторые двери были заперты на ключ, а другие так разбухли, что их невозможно было открыть. В прихожей лежали в горшочках связки ключей, казалось, ни к чему не подходивших. В саду стояла яблоня, корни которой разворотили забор, и маленький ветхий сарай. Роджеру понравились эти крохотные комнатки, узкий и низкий чердак и журчание воды, стекавшей по побеленной стене в конце сада. Так они и жили, по словам Лоры, в те годы: по съемным домам, постоянно меняя работу. Они были бедны до крайности. Они были бедны, сказал Роджер, как церковные мыши.

Я могла представить их. Длинноволосых, рука в руке, читающих с улицы меню ресторанов, но никогда не заходящих внутрь, возвращающихся домой поздно вечером, прогуливаясь под фонарями. У них еще не было детей, но временами — по утрам, едва проснувшись — они заговаривали о том, какими именами назовут их.

К тому времени, как они прожили здесь три месяца, местные благотворительные магазины были завалены старыми вещами из их дома, аккуратно упакованными и перевязанными. Оконное

стекло в их спальне было тонким, словно первый лед. В окрестностях обитали плосколицые совы, охотившиеся по ночам, на мостах, выгнутых дугой, дрались кошки, а под мостами ютились бездомные.

Однажды ночью, сказала Лора смущенно, они услышали какой-то шум. Она перевернулась на другой бок и снова заснула. Но Роджер не мог спать. Шум продолжался, настойчивей, чем прежде. Он надел тапки, старую пижаму Лоры, шляпу, найденную у входной двери. За домом тропа вела к мосту, а дальше вниз по обе стороны к реке. Он стоял на дороге, прислушиваясь. Это было не совиное уханье и не кошачий визг. Да ведь это, подумал он, ребенок.

Было так темно, что он не видел тропы. Не видел, где начиналась вода. Он шел на голос, шаг за шагом. Он опасался, что зацепится за что-нибудь ногой, ударится головой, свалится в воду и утонет, а тело его никогда не найдут. И шел дальше. На тропе стоял мусорный бак, частично выступая из кустов и загораживая проход. Внутри лежал ребенок, завернутый в одеяло, он сосал обрезки апельсиновой кожуры и хныкал. В этом было что-то библейское, сказал Роджер, что-то неподражаемо мифическое. Он поднял малышку,

прижал к груди и отнес в дом.

Так к ним попала девочка. Она переставала плакать, когда кто-нибудь из них брал ее на руки, ела рыбные палочки, которые они готовили дюжинами, слушала, когда они говорили с ней, хныкала, когда они уходили из комнаты. По ночам, когда она просыпалась и плакала, Роджер шел к ней в комнату и стоял над кроваткой. При нем она застывала, настораживалась. И они вместе слушали шум реки, отдававшийся в стенах дома, гудение посудомоечной машины внизу, писк мышей, живших на чердаке. Они с Лорой, думал Роджер, сами того не замечая, шли к этому моменту, катились к нему вниз по склонам холмов.

Процедура удочерения прошла на удивление быстро. Никто не пришел заявлять на нее права. Никто больше не хотел ее. В течение первой недели к ним приходила дважды в день женщина из опекунского учреждения. Ее звали Клодия, она была крупного сложения и с пирсингом в брови, и сидела так тихо, что часто они забывали о ней. Трудно было замечать что-либо, кроме девочки, чьи глаза следили за ними по всей комнате. В последний приход Клодии Роджер проводил ее до двери. Его кое-что беспокоило.

Почему, как вы думаете, никто не пришел за ней? — спросил он.

Она уже почти дошла до машины. И медленно вернулась к крыльцу.

По многим причинам.

А вы как думаете?

Она указала в сторону воды. Я работала какое-то время на канале, когда начинала. Нелегкая работа. У них там свои сообщества, свои правила. Они не вызывают полицию или органы опеки, если что-то идет не так. У них своя власть. Это другой мир. Они оставили ее на тропе потому, что хотели, чтобы кто-то нашел ее. За ней никто не пришел потому, что никто не ищет ее.

Каждую неделю и каждый день они перебирали всевозможные имена для девочки. У них не было времени, пожаловалась Лора, подготовиться. Они были к этому не готовы. Однажды Роджер назвал ее Марго, и это имя пристало к ней, точно репей. Марго.

Я боялась, что с ней что-то не так, сказала Лора.

Например, сказала я.

Что угодно могло быть не так. Я не могла спать, сказала она. Не могла не думать о них.

В смысле? О ком?

О ее родителях. Генетических родителях. Обо всех их генах, незаметно кишащих внутри нее. Люди ведь передают детям больше, чем цвет волос и глаз. Не так ли? Дети — это карты генов.

Теленяня издала тревожный сигнал, и оба они застыли в напряжении, но после этого долгое время все оставалось спокойно, так что они выдохнули и продолжили рассказывать свою историю.

У Марго был широкий подбородок, прямой нос, развитые кисти рук и густые брови, часто придававшие ей настороженный, а иногда удивленный вид. Она была крупным ребенком, с упитанными коленками и массивными кулачками. Ползать и ходить она начала позже срока, а когда наконец стала делать первые шажки, выяснилась причина такой задержки. Она ступала правой ножкой и подволакивала левую, точно старый трейлер тянула за собой новая машина. Врач достала карманные часы на цепочке и стала раскачивать их перед Марго, отчего она оторопела. Врач нажимала на недоразвитую ножку, выпрямляла ее, держала стопу в ладонях. Лора смотрела на рентгеновский снимок, на белые линии косточек, вытравленные на темном фоне. Врач коснулась

авторучкой своих губ и указала на аномалию: кость в левой ноге Марго была изогнута, как от воздействия сильного света или давления. Ей выписали скобы, которые она носила до семи лет. Долгими зимами кости в хромой ноге ныли; летом же ей казалось, что она чувствует, как в ее суставах собирается вода; а осенью и весной она продолжала помнить эти ощущения и уже не могла ходить ровно.

Она росла замкнутой, даже настороженной, сказала Лора, как будто во всем, чему они пытались научить ее, усматривала какой-то подвох. Она не верила, что были такие слова, как бестолковый, простокваша, филиппика, скоморох. Она не верила, что семена, которые они сажали у себя в саду, вырастут во что-то. Тем не менее она хорошо работала руками, любила медленные, осторожные прогулки с ними по городку и вдоль канала. С каждым днем они с Роджером все больше забывали, что не сами сотворили ее.

Случалось, что Роджер заставал ее сидящей на краю своей кровати, внимательно глядя на потолок, на который Лора наклеила светящиеся звезды в виде кривых созвездий. На что смотришь, Марго? — спрашивал он. И она переводила на него напряженный взгляд и говорила: ни на

что. Бывало, что она нервировала его. Она была не похожа на других детей, на которых Лора иногда смотрела: носившихся кругами по детской площадке, прыгавших через скакалку, катавшихся на велосипедах.

Чем вы занимались сегодня в школе? — спрашивали они, приходя за ней, и она собиралась с мыслями всю дорогу до дома, плотно поджав губы. Чертили, говорила она. Бегали.

Куда же вы бегали?

Она хмурилась, словно сама с трудом верила в сказанное. Мы бегали до стены. Мы бегали обратно.

Она не дружила — насколько могли видеть ее родители — ни с кем, кроме соседского мальчика, с жидкими волосами и заиканием. Марго заходила к нему, и они вдвоем выкапывали бледных дождевых червей, ковырялись с выводком мокриц или строили плотину и смотрели, как набирается вода. Он дарил ей подарки: листья со странными прожилками, яблоки, насквозь проеденные червями, монетки, настолько стертые, что было не разглядеть королевской головы.

Однажды он забрался на забор между их садами и бросил ей сложенную бумажку. Она изучила ее, взяла в дом, дала Лоре.

Что это?

Это дал мне Саймон.

Лора разгладила бумагу на кухонном столе и прочитала вслух: *Ты будешь моей девушкой?* Лора посмотрела на нее и ничего не сказала. Марго взяла записку и закопала в саду, надеясь, что она прорастет, причем под землю, словно перевернутое дерево. Когда же Саймон стал стучаться к ним, она больше не выходила к нему и не разговаривала с ним. Лора смотрела, как она закапывала все записки, которые он катапультировал ей через забор, не читая.

Пожалуй, тогда это и началось. Ее неприязнь к словам в книгах, выплывавшим друг из друга. Она отказывалась читать, говорила им, что слова, как муравьи, все время расползались, не стояли смирно. Молодая учительница занималась с ней после уроков и с энтузиазмом говорила о ее прогрессе. Теперь она может прочесть всю эту книгу. Только когда Роджер просил ее почитать, он видел, как она закрывает глаза и говорит по памяти.

А почему ты не хочешь читать?

Она захлопывала рот и замолкала.

Почему тебе не нравятся слова?

Они движутся.

Как это?

Они не по мне, говорила она в своей особой манере, кося глазами, чуть испуганно, словно взрослая, застрявшая в детском теле.

Когда Марго было десять, семья Саймона переехала, и соседний дом простоял пустым пару месяцев, а затем в него вселилась новая хозяйка. Ее звали Фиона. Не было никакого фургона с вещами, просто в один день появилась женщина в красном плаще с чемоданчиком. Они наблюдали, как с ее появлением изменилось поведение Марго, как она подбегала к двери всякий раз, как слышала шум с улицы, или сидела у одного из окон на верхнем этаже, всматриваясь в соседский сад. Она лежала под изгородью, разделявшей их участки, и ждала, когда откроется дверь того дома, не обращая внимания на грязь у себя в волосах и на губах. Прижималась ухом к стене, отделявшей их дом от соседнего. Но эта женщина никак не показывалась. Марго подкарауливала Роджера и Лору у раковины или на пути к мусорным бакам или перед дверью в ванную. Кто она? — спрашивала она. Кто она?

Я не знаю, говорили они. Почему бы тебе не пойти познакомиться с ней?

Они дали ей банановый хлеб, чтобы отнести

соседке, и объяснили, что нужно сказать: *Привет, я живу в соседнем доме. Меня зовут Марго*.

Она дошла до калитки и словно примерзла к месту, мелко дрожа. А потом быстро вернулась назад, поднялась наверх и прилипла к окну, чтобы дальше следить за соседским садом.

Тогда Роджер сам взял банановый хлеб и пошел к соседке. Фиона красила лестницу ярко-желтой краской, которой были испачканы ее волосы. Она сделала ему сэндвичи с сосисками и сладкий кофе. Настояла на том, чтобы сделать на него расклад по картам Таро, а когда сделала, громко рассмеялась при виде выражения его лица. Она понравилась ему. Она говорила без обиняков и легко смеялась. У нее почти не было мебели, а в духовке, когда она открыла ее, чтобы подогреть сосиски, стояли туфли, которые она вынула оттуда. Он сам удивился, как пригласил ее к ним на обед. Они с Лорой мало с кем водили дружбу. В дверях он сказал ей, что их дочь, Марго, уже симпатизировала ей. Это польстило ей, и она взяла его за руку.

Фиона пришла на обед на следующий день. Она была высокой, как дерево, тонкой, как палка, и с ярко-красными губами. Марго даже не притронулась к ложке или вилке. Фиона съела

три картофелины из салата и прокусила ломтик хлеба, оставив корку нетронутой, выпила стакан воды и ушла к себе домой. Марго встала коленями на ее стул, взяла дырявый ломтик хлеба и посмотрела сквозь него на родителей. После этого Фиона часто приходила к ним обедать. Марго слегка побаивалась ее. От нее веяло чем-то стихийным, алхимическим. Марго повсюду ходила за ней, смотрела, как она умывалась, ела яблоко, ходила в ванную. Роджер с Лорой наблюдали за ее пристальным вниманием к Фионе с интересом и изумлением. Они никогда не видели, чтобы ее настолько интриговал другой человек. Она боялась почтальона и сантехника; в школе, как им сказали, она держалась сама по себе и редко говорила в классе.

Что, по-твоему, в ней такого? — сказала Лора как-то вечером, когда Марго уже заснула, и они с Роджером сидели в саду. Почему, как ты думаешь, Марго так зачарована ей? Роджер запрокинул голову и посмотрел в небо.

Я могу ошибаться, но ты помнишь, как она относилась к миссис Твигг? — сказал Роджер. Миссис Твигг была любимой учительницей Марго в начальной школе, импозантной дамой под шестьдесят, с тихим, жестким голосом, наводив-

шей страх на Роджера и Лору на родительских собраниях, но Марго говорила о ней непрестанно, пока она не вышла на пенсию и не уехала во Францию. Марго была привязана к ней так же, как теперь, очевидно, привязалась к Фионе. Она была совершенно поглощена ими, очарованная чем-то, чего ни Роджер, ни Лора не могли определить, и единственное, что пришло Роджеру на ум, — это возраст.

Она тянется к пожилым людям? Лоре эта мысль не показалась вразумительной. Они посидели какое-то время в молчании. Лора вспомнила, как Марго приносила домой свои школьные рисунки, когда была помладше. Они отличались от рисунков других детей; они были хмурыми, в коричневых и черных тонах. Тем не менее они висели у них на холодильнике. На одном из них были Роджер с Лорой и Марго, и еще одна фигура, склонившаяся над ними троими, с огромными висячими руками и широким, добродушным ртом. На вопрос Лоры, кто это, Марго объяснила, что это была миссис Твигг. Так что, подумала Лора, дело было не столько в возрасте, сколько в авторитете, в исходившем от них ощущении благосклонной властности.

Однажды — Марго шел двенадцатый или три-

надцатый год — Лора усадила ее и сказала, что Фиона когда-то была мужчиной.

Бывает так, сказала Лора, что нам ни к чему то, что у нас есть. Ешь свою овсянку.

Когда Марго увидела Фиону в следующий раз, пропалывавшей сорняки у себя в саду, она подошла к ней и приложила рот к ее уху, оттянутому серьгой.

Секрет? — сказала Марго.

Фиона кивнула, подняла свою руку и легко приложила к груди. Ни единой душе.

Марго сказала ей то, что услышала от Лоры — что Фиона была женщиной в мужском теле.

Это правда, сказала Фиона, словно рыба, живущая в животе у цапли.

Это заворожило Марго. Она несколько недель думала об этой рыбе, трепыхавшейся под птичьими перьями, ищущей соленой воды. По утрам Фиона сидела у себя в саду, а Марго передавала ей чашку чая. Можешь? — говорила она. И Фиона доставала из кармана карандаш для глаз, наклонялась к Марго и проводила тоненькую линию усов над ее верхней губой.

Роджер и Лора часто видели Фиону в основном в компании Марго, иногда одну; они ходили вместе в китайские рестораны или просто гуля-

ли по городу. Они хорошо ладили, хотя иногда, встречаясь с ними по выходным, Фиона почти не разговаривала или казалась потерянной, а иногда и вовсе не показывалась. Она ходила в леопардовой шляпе, надвинутой до самых бровей, и носила с собой пачку карт Таро. Часто они получали от нее открытки — всегда адресованные Марго — из самых разных мест. Она писала: *На данный момент погода здесь скверная, но я знаю, скоро будет лучше.*

Марго — это было ясно — любила ее отчаянно и несокрушимо. Она ходила за ней по дому, тихо сидела и слушала, когда Фиона говорила, заливалась смехом — как ни с кем другим — над ее шутками. Когда Фиона показывала карточные фокусы или говорила Марго, что знает, когда пойдет дождь или в какой день протухнут яйца, Марго упорно верила ей. И не слушала, когда Роджер пытался объяснить ей, что никто на самом деле не знает, что произойдет, пока это не произошло.

Кроме Фионы, говорила Марго. Фиона знает.

Она верит в это, думал Роджер, с убежденностью и неукоснительной стойкостью, необычной для своего возраста. Как-то раз она спокойно сидела по другую сторону стола от него и путано говорила о судьбе. Ты знаешь, что это значит,

Марго? Да, сказала она, это значит, что у нас нет выбора. Он рассердился за это на Фиону, однако, когда он сказал ей об этом, она возразила, что ничего такого не внушала ей, что это ее собственные мысли. Его дочь была словно из иного века, думал он, или — менее удачная аналогия — из какой-нибудь секты или семьи религиозных экстремистов. Он смотрел, как она плотно сжимала челюсти, когда он пытался мягко спорить с ней об этом. Она была непробиваема. Я верю, сказала она, в судьбу.

Как-то раз, когда Марго было тринадцать лет, они не видели Фиону целую неделю, а когда Роджер зашел к ней, оказалось, что ее дом стоит пустой и незапертый, с отключенным электричеством и водой. На следующий день на пожухлой траве перед домом появилась табличка: ПРОДАЕТСЯ. Через несколько недель приехали фургоны — въезжала новая семья. Марго все видела из окна.

Прошел год, прежде чем Фиона вернулась. Дома вдоль берега затопило, и люди несли на себе все свои вещи вверх по холму. Вдоль улицы тянулись силуэты кресел или магнитол на человеческих ногах. Фиона не стала звонить им в дверь, а обошла дом сзади и стояла, глядя в окно.

Она еще больше похудела, а старое пальто было изодрано и запачкано. Что-то с ней случилось, хотя она не говорила, что. Роджер отвел Марго наверх, чтобы приготовить постель в свободной комнате. Он хотел что-то сказать ей, объяснить и успокоить, но она подворачивала уголки простыней со странным спокойствием. Не в первый раз он задумался, откуда же она пришла к ним и что принесла с собой.

Ночью они слышали, как Фиона бродит по дому и тихо говорит сама с собой. Они беспокоились о ней. Им не приходило в голову попросить ее уйти, хотя позднее они будут жалеть об этом. Каждое утро Марго относила наверх чашку чая, оставляла у двери и приносила обратно — холодную и нетронутую — после полудня. Только три или четыре месяца спустя Фиона начала пить чай, и еще дольше времени прошло, прежде чем она стала садиться с ними за стол. Постепенно она поправилась, стала спать по ночам и разговаривать с ними, а не только с собой.

После ее возвращения они с Марго сплотились еще больше прежнего — сообщницы, продувные бестии — водой не разольешь. Марго принимала от Фионы такие истины, которые не приняла бы ни от кого другого. Она верила Фионе, когда

та говорила ей о течениях, об уровне грунтовых вод, о движениях земной коры. Слушала Фиону, когда та объясняла ей значение таких слов, как «маргинальный» и «снадобье». Когда ей снился кошмар, она шла в комнату Фионы.

Роджер часто заставал их — перед самым рассветом — шептавшимися под простынями. Его слегка беспокоили эти утренние беседы, особенно когда он вспоминал ту убежденную восьмилетнюю девочку, пристально глядевшую на него через стол и говорившую о судьбе, о жизни без выбора. Но Фиона казалась такой остепенившейся, умиротворенной. Она больше спала и меньше спорила, и Марго — это было ясно — любила ее.

Они никогда не говорили Фионе, как у них появилась Марго. Как и самой Марго. Они решили, гуляя как-то ночью, что это причинило бы ей такую боль, которую они не смогли бы унять. Пусть она попала к ним со стороны, неизвестно от кого, но теперь она была их дочерью.

Река

По верхушкам деревьев собирались вороны и разлетались во все стороны, точно осколки мозаики. Марго было легче — пока она не убегала

— представить свою жизнь здесь, в совершенно новом облике. Она была его ребенком — или нет — ребенком его сестры; ее мать умерла; она оставалась здесь, пока не вырастет достаточно, чтобы уйти. Но даже тогда она будет навещать его; помогать ему. Дни будут такими, как сейчас — неспешными, спокойными. Он научит ее готовить и вытачивать блесны, рыбачить с ними. И, может быть, однажды они даже выведут лодку в плавание. Он научит ее править лодкой — когда им надоест жить в тени фабрики и этого городка, — и они уплывут отсюда. Как человек оставляет все, что знает? Он находит что-то вместо этого. Чарли называл ее «сынок» или «парень», и она подумала: возможно. Почему бы нет?

Он рассказал ей, как его дочь родилась на лодке, как он поймал ее в свои руки и прижал к лицу, ее скользкое тельце, словно что-то, вынесенное волной на берег. Его дитя. Его первенец. Как он давно мечтал. Он рассказал ей, как она сосредоточенно смотрела на него, хмуря свое серьезное личико. Как быстро росли у нее волосики, цвета сухой травы; как она вытягивалась, набирала вес. Какие у нее были пухлые ручки и купол ее головы. А потом он проснулся — и ее больше не было.

Их обеих. Ни дочери, ни матери. Как если бы их вовсе не бывало. Все, что от них осталось — это несколько сосок да одеяльца в комоде, где спала его дочь. Что же осталось: все слова, которых она никогда не узнает; все разговоры, которых у них никогда не будет.

Два дня перешли в третий. На завтрак они ели лепешки или яйца. Он вытачивал блесну, повторяя снова и снова, что на нее можно будет поймать что-то крупное. Она ломала голову над книгами, которые он ей давал, или сидела и смотрела, как он рыбачил. Это была ничем не нарушаемая безмятежность.

Ночи были другими. Ночи были сплетены из упущенных возможностей, из кошмарных «что, если бы». Нервозность все еще не позволяла ей спать на лодке, так что она ставила палатку на тропе у берега и каждое утро разбирала, чтобы не мешать прохожим. Лежа в палатке, она чувствовала спиной каменистую тропу. Три ночи подряд она просыпалась еще до рассвета. Ей слышалось какое-то сопение рядом с палаткой, какое-то движение на тропе или на берегу. Лежа неподвижно, она сама не замечала, как сильно прикусывала себе щеки, пока снаружи не становилось тихо; пока неведомый пришелец не уходил.

Я тоже что-то слышал, сказал он ей, когда она сбивчиво рассказала ему об этих звуках. Я думал сначала, что это был барсук или лиса. Они роются в мусоре. Но я не знаю. Может, и нет. Люди поговаривают, что-то завелось в воде, чего там раньше не было. Он вынул блесну из кармана и поднял вверх. Я думаю, это нечто с человечьими руками и рыбьим ртом.

Это был водяной вор, подумала она. Тот, что жил в воде и ходил по земле. Он преследовал ее вдоль реки. Она закрыла глаза, и в пятнистой тьме у нее под веками отпечаталось нечто, пробиравшееся через илистые массы по дну канала. У него не было человеческих рук, но если бы оно могло стоять, оно было бы ростом с человека, оно обладало хитрым умом и крало что хотело. На изнанке своих век Марго увидела, что у водяного вора было лицо Фионы.

На четвертую ночь что-то опять разбудило ее. Она села. Тент был влажным изнутри, она почувствовала воду на ладонях, когда провела по нему рукой. Снаружи что-то едва ощутимо шевелило палатку. Она натянула одеяло на голову, чтобы отгородиться от всего. Она ничего не хотела знать. Края палатки двигались, дрожали. Ветер. Вероятно. Но затем раздался гром. И звук

какого-то движения по деревянной крыше лодки. Она схватила первое, что попалось под руку — лишние штыри для палатки, — и, расстегнув тент, шмякнулась коленями в грязь. Где-то рядом выли кошки. Мысль о Чарли на лодке, слепом, без чьей-либо помощи, придала ей храбрости, которой она не знала раньше. Она забралась на деревянную палубу, распахнула двойную дверь, скатилась по трем ступенькам и растянулась на полу. Сумка со штырями закружилась по деревянному полу. Слышались крики и грохот. Свет от фонарей вдоль дороги едва проникал в кабину, так что она ничего толком не видела. Она различала только неясные движения. Она почувствовала, как растянулся ее рот, и поняла, что тоже кричит. Это был он. Водяной вор. Чье-то мясистое тело наскочило на нее, и невидимые пальцы больно схватили за волосы.

Пошел на хуй! — прокричал кто-то. Она отлетела в сторону, тяжело упав на пол. В свете из окна она увидела лицо и руки, вскинутые к потолку, длинные, как линии электропередачи, распахнутый рот и слепые мечущиеся глаза. Она закрылась руками, перекатилась по полу, увернувшись от его ноги, ударившей об пол и двинувшейся дальше. Она посмотрела мимо него,

во тьму, ожидая увидеть врага. Но там никого не было. Водяной вор скрылся.

Выметайся! — прокричал он. Не подходи. Он отталкивался от стен и размахивал руками в ее сторону, не давая ей приблизиться к нему.

Не бойся, сказала она, и он пошел на ее голос и ударил наотмашь, сбив с ног, а затем схватил и вцепился в горло. Она открыла рот, пытаясь сказать, что она не тот, кто он думает; она не водяной вор. Она открывала рот, пытаясь сказать, что ей нечем дышать, но у нее не было воздуха даже для этого. Она стала шарить руками вокруг в поисках чего-нибудь, но ничего не нашла. Зрение стало затуманиваться, словно заволакиваясь грязной пеленой. Ее пальцы, метавшиеся по полу, что-то нащупали, и она схватила это и бездумно ударила наугад со всей силы.

Она услышала свое сердцебиение. Во рту и груди горело и саднило при каждом вдохе. Руки ее тоже горели и были мокрыми. Она лежала без движения. Вокруг было тихо. Пахло картошкой с луком, приготовленной Чарли накануне. Свет, проникавший в окна, обрисовывал кабину лодки. Что произошло? Она спала. Потом услышала шум. А дальше она ничего не помнила — и это испугало ее. Поперек ног что-то лежало. Она нащупала

ручку буфета и поднялась. Оперевшись ладонью об пол, она почувствовала что-то металлическое, острое. Это были штыри для палатки, лежавшие в открытой сумке. Она приложила ладонь ко рту и почувствовала соленый вкус и тепло. Поперек ее ног лежал Чарли. Она вытащила из-под него ноги, и он безвольно скатился на пол. Его глаза были открыты, как и всегда, подернутые белой пленкой, точно старые фотографии. В ней поднялась и закипела паника, сводя ее с ума. Она положила ладони ему на лицо, взяла за голые запястья. Он уже остывал. Она вдавила кулаки в его узкую грудь. Он остался неподвижен. Ее руки налились тяжестью. Она приложила свой рот к его и попыталась вдохнуть неподатливый воздух, как она видела по телевизору. У него из носа выплеснулась кровь, и она приняла это за признак жизни. Она снова уперлась руками ему в грудь и принялась ритмично давить. Она ничего не понимала. Снаружи доносились звуки машин, пересекавших близлежащие дороги, на фабрике гудела сирена, слышались голоса людей с других лодок. Она пыталась не смотреть на него, но глаза все равно выхватывали отдельные детали: лиловый цвет кожи, носок на одной ноге, почти сползший с пятки.

Наконец, она заставила себя подняться, задвинула занавески, заперла дверь, пошарила по комодам, нашла консервированные бобы и съела их. Затем взяла одеяло из спальни и накрыла им тело. Она напрасно думала, что так будет лучше. Это только создавало впечатление, будто он был жив.

Она не заметила, как заснула, а когда снова пришла в сознание, свет за окнами уже померк. Лодка мерно покачивалась у берега, как будто мимо прошло какое-то судно. Под одеялом на полу лежал Чарли. Он был — она впервые отчетливо осознала это — мертв. Осмотревшись, она заметила на полу конец штыря для палатки рядом с ним и ясно вспомнила, как все было: ее руки беспорядочно шарили по полу, она нащупала что-то металлическое, сжала это, и вскинула руку вверх, в направлении его головы. Она с силой обхватила ладонями лицо. И снова время незаметно пропало куда-то. Когда она подняла взгляд, было так тихо, словно все другие лодки уплыли, подальше от этого города. Она встала на ноги, открыла двери, вышла наружу и плотно закрыла их за собой. Пахло жженой резиной, ряды фонарей за деревьями тянулись вдоль дороги, а тропа и вода сливались во тьме. Она стояла и

ждала, что кто-то появится и подойдет к ней, но кругом не было ни звука, ни движения.

В ней проснулся инстинкт самосохранения. Позднее она будет вспоминать об этом и удивляться себе. На тропе она набрала на ощупь камней, сложила их в подол джемпера и отнесла на лодку. Затем она откинула одеяло с тела и, стараясь не касаться кожи, рассовала камни по карманам его желтоватой пижамы. Он оказался тяжелей, чем она думала, но она не решилась вынуть камни обратно. Было уже поздно. Она взяла его под мышки, невольно скользнув взглядом по его глазным впадинам, вдохнув запах его волос, коснувшихся ее лица. Подняла его на первую ступеньку и замялась. Его кожа на ощупь была точно влажное тесто. Она распахнула дверь ногой, вытащила его на маленькую палубу и постояла, тяжело дыша холодным воздухом. Втащила его на борт, подождала секунду и спихнула в воду.

Три
Погода здесь скверная

Коттедж

Ты говоришь, что сходишь с ума от скуки, что я не могу вот так держать тебя под замком, что тебе нужно выйти из дома.

Я ставлю чайник и показываю на дверь. Она не заперта. Пожалуйста, иди.

Я не это хотела сказать. Давай пойдем куда-нибудь вместе. Как мать и дочь. Прошвырнемся.

Я не могу понять, шутишь ты или нет, но затем ты поднимаешься, и я вижу, что ты нашла и собрала мою старую сумку, которую я купила несколько лет назад и ни разу не использовала. На тебе юбка, туго натянутая на бедрах и ягодицах. Я не была на работе почти месяц; с того дня, как побывала в морге, а затем принялась разыскивать тебя. Пришло мне время вернуться. Устроить рабочий-день-с-помешанной-мамашей.

О'кей, говорю я, и ты светишься от радости.

Куда мы направляемся? — спрашиваешь ты. И еще раз, уже в автобусе. Ты садишься у окна

и показываешь пальцем на прохожих и машины. Похоже, что вне дома твое состояние усугубляется, и твоя речь пестрит ошибками и бессмысленными фразами, так что я тихо тебя поправляю. Я становлюсь твоим голосом. Дорога занимает почти час, и ты трещишь без умолку, то беря меня за руку, то отпихивая с недовольным фырканьем. В твоей манере говорить возникают определенные новшества, постоянные попытки скрыть или затушевать промахи. Ты взяла с собой, засунув в сумку, один из тех блокнотов, что мы обе привыкли вести, и я смотрю, как ты то и дело пытаешься изобразить какое-нибудь слово, не дающее тебе покоя. Ты не позволяешь мне помогать тебе. Ты цыкаешь на меня, если я пытаюсь что-то подсказать или объяснить твой рисунок. Помолчи, говоришь ты, помолчи. Мы не подруги, ты моя мать. Мне не позволено жалеть тебя.

Мы сходим с автобуса и идем в офисное здание. Сейчас летние каникулы, и улицы запружены людьми. Ты ускользаешь от меня, заглядывая в сырные или книжные магазины. Ты тычешь пальцем в прохожих и шепчешь комические комментарии. Смотри на его шляпу, что это за шляпа. Это юбка или пояс, как думаешь? На текущий момент мы с тобой снова пара заговорщиц,

какими были когда-то на реке. Твое пристальное внимание — точно сноп света из маяка. Оно ослепляет меня. Я пытаюсь представить, какими мы должны были казаться со стороны тому же Маркусу. Мы были королями того места. Мы творили что хотели. Ты была маленькой тихой местной богиней. Неудивительно, что мы могли вызывать к жизни свои фантазии. Неудивительно, что мы видели в ночи Бонака.

Я думаю о днях, когда с нами на лодке спал Маркус, под кучей одеял, так близко, что я чувствовала лицом его горячее дыхание и видела, как у него под веками вращаются глаза. Ты спала как убитая, но у него бывали кошмары, из-за которых он метался по матрасу, стуча в стены и бормоча всякую абракадабру, которую я слушала. Он провел у нас достаточно ночей, как я думаю, чтобы у нас установилась некая утренняя рутина. Ты сидишь на ступеньках снаружи с сигаретой и чашкой кофе — завтраком бляди, как ты это называла. А Маркус тем временем медленно выплывает из очередного кошмара, словно моряк из шторма. Что тебе снится? — спрашивала я. Но он никогда не мог вспомнить. Ты бычковала сигарету и раскидывала белые руки над головой. И я видела, как глаза Маркуса обращаются на тебя.

Офисное здание имеет внушительный вид снаружи — белокаменные стены, высокие ворота, широкие окна. Ты останавливаешься на булыжной мостовой и указываешь на него.

Ты здесь работаешь?

Да, говорю я, преисполняясь гордостью на миг, но затем замечаю твою ухмылку и понимаю, что ты стебешься.

Мы поднимаемся на мой этаж. Я волнуюсь, что ты станешь шуметь, устроишь переполох, побежишь.

Тебе нужно быть тихой, говорю я.

Ты смотришь на меня и проводишь пальцами по губам. Мы входим в офис и идем к моему столу. Все как я оставила: повсюду желтые карточки со словами, ручки в подставке, ящик для входящих бумаг переполнен. У меня нет никаких фотографий или открыток. Ты выдвигаешь ящики и все рассматриваешь. Я вижу, как шевелятся твои губы, но вслух ты ничего не говоришь. Поверх кабинок я вижу Дженнифер, мою начальницу, машущую мне. Когда мы подходим к ней, она раскидывает руки, словно для объятия, но мы не обнимаемся. Лексикографы — люди сдержанные.

И кто же это? — спрашивает она, протягивая

тебе руку. На миг меня охватывает побуждение что-нибудь соврать. Это моя подруга, моя помешанная тетушка, это дама, за которой я присматриваю. Что угодно, лишь бы не произносить этого интимного слова. Но ты перехватила у меня инициативу и, взяв меня под руку, тесно прижалась ко мне, так что наши туфли стукнулись, и протянула Дженнифер другую руку со словами:

Я ее мать. Я Сара.

Я говорю Дженнифер, что сожалею, что отсутствовала так долго.

Ничего страшного, занимайся своими делами.

Сочувственная жалость других — это болото. Я благодарю ее и спрашиваю, как идут дела. Когда я оглядываюсь, тебя нигде нет. Я иду обратно через офис. Ковровая дорожка истоптана прилежными сотрудниками. Отдельные панели в навесном потолке сдвинуты с мест, как в моем сне. Я не зову тебя. Я молча заглядываю за углы и под столы, проверяю ванную комнату. Тебя нигде нет. Я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице. Я снова потеряла тебя. Ты для этого хотела выйти из дома? Ты растаяла так легко. Я уже начинаю чувствовать тянущую тяжесть в животе. Ты так мало рассказала мне, так мало объяснила. Я никогда не пойму, что случилось. Я сознаю — с

острой болью, — что буду скучать по тебе, если ты ушла от меня, и мне теперь будет даже больнее, чем до того.

Я слышу тебя раньше, чем вижу. Ты хнычешь, бессильно навалившись на мой стол. Стажер перегибается через стенку и всплескивает руками. Я машу ему, чтобы он оставил нас в покое.

В чем дело? — спрашиваю я.

Я ужасно зла на тебя. Я хватаю тебя за плечо и пытаюсь оттащить тебя от стола, но ты вцепилась в него и лягаешься. Ты хватаешь карточки со словами и комкаешь их. Над кабинками начинают подниматься головы, я слышу, как отодвигаются стулья. Я различаю между твоими пальцами обрывки фраз для слова, над которым я работала перед тем, как ушла. *Потерпеть ущерб/стать неисправным/околоплодная жидкость*. Ты рвешь их и — когда я наклоняюсь над тобой — запихиваешь себе в рот и глотаешь, кашляя клочками желтой бумаги. Стажер стоит с открытым, как у рыбы, ртом. Я вижу, словно в замедленной съемке, как Дженнифер бежит к нам, ускоряясь. Ты запихиваешь последний комок себе в рот и внезапно успокаиваешься. На твоих щеках, покрытых дорожной пылью, видны полоски слез. Я вижу, как ты прикарманиваешь дырокол со

стола, а затем поворачиваешься ко мне и протягиваешь руку, которую я беру, не зная, что еще делать.

Все в порядке, говорю я стажеру и Дженнифер, и остальным. Все в полном порядке.

Мы идем к лестнице, спускаемся. Меня колотит, но ты безмятежна, едва ли не светишься, утирая слюну с уголка рта, похлопывая меня по плечу.

Что ты делала? — спрашиваю я. Что ты делала?

Я не помнила это слово. Но теперь помню.

Я останавливаюсь, а ты идешь дальше, целеустремленно, размахивая руками. В твоей логике есть что-то детское: твои пальцы запихивают написанное слово тебе в рот, и язык вертится, пробуя его на вкус. Как мы тогда на реке, когда съели сердце животного, чтобы украсть его силу.

Неожиданно я вспоминаю, как ко мне клеился один тип в ярко-лиловой футболке на железнодорожной станции, держа наготове бумажку, чтобы записать мои контакты. Он вложил мне в руку крупный апельсин и сказал, что именно столько мозга теряется у людей с болезнью Альцгеймера. Я подумала об этом. Кусок размером с апельсин, изъятый из твоего мозга.

Внезапно на нас нападает жор. Мы шатаемся по

супермаркету и наполняем тележку чем попало. Я смотрю, как ты кладешь целую курицу, и ничего не говорю. Твоя речь распадается без всяких попыток переделать ее. Ты склеиваешь вместе предложения, называешь хлеб яйцами и вообще кажешься обкуренной, а фрагменты слов вырываются из тебя, словно разряды электричества. Ты говоришь о себе в третьем лице и, похоже, напрочь потеряла букву «м».

Ты напугала меня, говорю я тебе в морозильном ряду. Ты поставила меня там в неловкое положение.

Ты пристально смотришь на меня. Твои руки заняты замороженными сосисками и мороженым. Твои глаза такого же цвета, как у меня — безжалостного стального оттенка серого.

Но я тебя люблю, говоришь ты.

Я не знаю, что ответить на такое.

Охота

Сентябрь. День рождения Роджера. Это был 1997 год. Марго было шестнадцать лет, и в начале года она наблюдала, как Солнце наползло на Луну, закрыв ее.

Фиона надела передник и готовила тушеного ягненка с бананами и шоколадом, ругаясь и топо-

ча по кухне, гремя кастрюлями и обильно потея в своем шелковом платье; в итоге она признала поражение и заказала готовое блюдо.

Марго украшала дом со стоическим видом, развешивая по карнизам жемчуга Фионы, зажигая свечи на каминной полке. Она выпила пол-бокала вина. Роджер помнил, как зарумянились ее щеки и как он нашел раскрашенные конские каштаны, обернутые в бумагу, которые она оставила для него на видном месте. Он навсегда запомнил, как она выглядела, словно она потеряла способность стариться и навеки осталась такой, как в тот вечер: лицо в обрамлении каре, прямая спинка носа, плотные брови, сосредоточенно сдвинутые.

Лоре больше запомнилась Фиона в тот вечер: тише обычного, то и дело ходившая в ванную комнату, пару раз сменившая свои наряды, стоявшая у окна, задумчиво глядя в сад. Один раз она даже вышла на задний двор и, пройдя до конца сада, постояла у маленького зеленого сарая. Лора помнила ее в свете будущих событий; помнила, как она отпила последний глоток вина из бутылки, никому больше не предложив, и как она чуть спотыкалась, собирая тарелки и складывая в раковину. Она заказала на всех китайскую еду и

расстроилась из-за фаршированных блинчиков. Они не хрустят, сказала она. И повторила. Они неправильные.

Это ерунда, сказал Роджер, посмеиваясь, немного захмелев. Фаршированные блинчики — это ерунда.

На секунду она смерила его таким взглядом, выпятив челюсть, что Роджер отшатнулся, пораженный, а остальные притихли. Правильно, сказала она, вскинув обе руки и осклабившись, блинчики — это ерунда. Ты прав, старик. Весьма прав.

В воскресенье они встали позже обычного из-за похмелья. Лора первой спустилась на кухню и заварила чай. Поставив четыре чашки на поднос, она оставила одну рядом с комнатой Фионы и пошла к Марго. Постель была заправлена, и Лора заметила, что пропали некоторые вещи: джемпер, ортопедические сапоги Марго. Она не поддалась панике, хотя была близка к тому. Марго ушла. Ее не похитили — как Лоре часто виделось в тягучих, запутанных кошмарах, — она сама ушла. По собственному соизволению.

Потом, когда они бессчетные разы вспоминали тот вечер, они постоянно задавались вопросом: как бы все могло повернуться, если бы они прове-

ли его по-другому. Если бы они не пили столько; если бы на следующий день Лоре нужно было на работу в школу, и она бы с раннего утра была на ногах, заваривая чай на холодной кухне; если бы Роджер с вечера позаботился запереть двери, как он обычно делал.

Дать прощение, сказала Лора, я не в силах. Прощение дают только тогда, когда человек измотан настолько, что уже ни на что не способен.

Роджер обошел весь городок, разыскивая Марго; он пришел домой с посиневшими от холода пальцами, с лиловыми губами. Лора перерыла ее комнату, ища любые знаки, послания или тайные указания, которые могли бы намекнуть, что она не хотела уходить, что она скоро вернется. Фиона сидела за столом и пила кофе без молока. Она была в ботинках и пальто, но она никак не пыталась помочь и не стала говорить с полицией по телефону. На губах у нее оставалась помада с прошлого вечера.

Ты видела ее? — спрашивал Роджер. Ты слышала, как она уходила?

Я знала кое-что, сказала Фиона после секундного колебания. Я знала кое-что. Словно бы, сказала она, ты слишком резко встал и тебя пошатывает.

Она что-то знала и сказала это Марго.

Что? — спросила Лора. Что ты ей сказала?

Фиона закрыла глаза. Роджер увидел, что она заплакала, и он так испугался, что едва мог говорить. Я сказала ей, что ей нужно уходить, призналась Фиона. Я сказала ей уйти.

Они расклеили фотографии на фонарных столбах, на витринах магазинов, на окнах машин. Дали объявление в местных новостях. Роджер продолжал ходить по городу, надеясь увидеть что-то такое, что мог заметить только он. Лора колесила на машине по дорогам, заезжала на станции техобслуживания, показывала людям фотографию Марго, высматривала ее в проносившихся мимо машинах и среди голосующих вдоль дорог. Вернувшись домой, она вошла в комнату Фионы и все там обыскала. В комнате был порядок: кровать заправлена, маленькая полка с книгами у стены, аккуратные ряды туалетных принадлежностей. Лора залезла под матрас, перевернула его, сбросила книги на пол и перетряхнула их, обшарила одежду в гардеробе. Все утро они пытались вытянуть из Фионы, что же она сказала Марго, но она отмалчивалась, а теперь и в ее комнате не нашлось никаких подсказок. Там не было ничего, что было бы как-то связано с этим. Лора побросала все в мешки и

вынесла их на тротуар. Утром Фиона уехала.

Они стали ходить на групповые собрания людей, от которых ушли дети. Несколько раз Роджер ходил на собрания людей, чьи дети умерли, но это было не одно и то же, и он это понимал. Он находился там не по праву. Его дочь сама не захотела с ними жить. Его дочь никогда на самом деле не была им дочерью.

Лора пыталась отгородиться от лишних мыслей с помощью работы: вела продленки, получила послевузовский сертификат по педагогике, чтобы преподавать на полную ставку, а после работы просиживала в разных кафе у окон, глядя на улицу.

Роджер пил. По большей части сначала он пил пиво. Только он пил в не пабах, не там, где были другие люди; он пил в ванной комнате или засовывал пивные банки в карманы пальто и пил на улице. А дальше он прошел через все, через что проходит человек в такой ситуации. Дни для него стали не более чем тягостными интервалами между сном. Он помнил, как ребенком Марго говорила с такой уверенностью об отсутствии выбора, о предопределенности. И он представлял — это, пожалуй, было самым худшим, — как она уходила от них с мыслью, что у нее нет выбора,

что ей ничего больше не оставалось, кроме как уйти. Он не мог вынести этого. Он был готов скорее упиться до беспамятства, лишь бы не думать таких мыслей.

Фиона в конце концов вернулась. Прошедшие годы тянулись долго, наполненные главным образом пьянством Роджера и безуспешными попытками завести детей. Они пережили выкидыш и автомобильную аварию, когда Роджер был пьян. Полгода Лора прожила отдельно от него. Потом они пришли к примирению, испытав медленное возвращение того малого счастья, которое они еще могли дать друг другу. К тому времени, как вернулась Фиона, вероятно, семь лет спустя, они уже взяли двоих приемных детей, а в скором времени возьмут еще двоих. Роджер несколько раз пытался завязать с пьянством, но без особого успеха, и опять стал выпивать. По вечерам или совсем рано утром он закапывал пивные банки и бутылки в цветочные клумбы, трезвея от касания лицом холодной травы. У него бывали видения во время запоев: словно Марго выбиралась из-под разрытой земли или он слышал несуществующие голоса. Тем вечером он увидел свет в окне сарая, поискал оружие, но не нашел ничего, кроме бутылки, из которой

пил, поднял ее повыше и распахнул ногой дверь. Они никогда особо не пользовались сараем, и много лет там были свалены сломанные садовые стулья, старая газонокосилка и ящик с рождественскими украшениями. Все это было сложено стопками, и один из шезлонгов тоже был всунут с краю, накрытый одеялом. Посреди сарая сидела, скрючившись, Фиона. Роджер взялся за дверной косяк и замахнулся бутылкой. Фиона выглядела, как сказал Роджер, хуже некуда. Она несмело посматривала ему в глаза, но в основном смотрела ему за плечо или вверх, на потолок. Она вся высохла, а когда провела дрожащими пальцами по волосам, выпал целый клок. Был момент, признался Роджер, когда он собирался пришибить ее бутылкой. Но тогда бы она уже точно не рассказала им, куда ушла Марго.

Он никому не говорил о ней почти месяц, носил ей сухой хлеб или макароны в кастрюле и смотрел, как она глотала все это, не дыша. Какое-то время она ничего не говорила, только смотрела на него, ела, что он приносил, и спала на шезлонге. Иногда он задавал ей вопросы, требовал ответов, кричал. Иногда он умолял ее. Она ничего не сказала ему. Он часто вспоминал те открытки, что она присылала им из разных

краев. *Погода здесь скверная*. Вспоминал, как шуршали конверты, падая на половик, как он читал их за утренним кофе. Когда он наконец признался Лоре, он подумал, что она вышвырнет их обоих и сменит замки. Только она понимала не хуже его, что был лишь один человек, который мог знать, куда ушла Марго, и этот человек жил у них в сарае у дальней стены сада.

Река

Низкие каменные мосты над водой, домики, прижатые один к другому, крошащиеся берега канала. Марго сидела на корточках за тенистым кустом и смотрела, как суетливые полицейские с избыточным весом опрашивают людей на тропе. На выглаженных брюках служителей порядка виднелись брызги грязи. Она представляла, как они собрались вокруг лодки и прижимаются бледными лицами к окнам. Она ждала, что сейчас они приблизятся по тропе к ней, возьмут под руки, скажут, что нашли тело, и знают, что это она виновница. Она взяла с лодки книгу загадок, и как только они найдут ее у нее в сумке, у них отпадут малейшие сомнения. Она развязала шнурки на левой туфле и завязала по новой. Один из полисменов пнул несколько камешков в

реку и смотрел, как от них расходятся круги. Она закрыла глаза. Она подумала о том, как Чарли называл ее парнем или сынком, о той уверенности, с какой он решил, что она не девушка. Она подумала о людях с других лодок, наверняка видевших, как она сходила с лодки или сидела с Чарли на крыше. Она подумала о том, как они вытащат тело — отяжелевшее от воды и тины — из реки, как будут поднимать его на канатах, наматывая их на колесо. Когда она открыла глаза, полисмены ушли с прибрежной тропы и рассаживались по своим машинам у дороги; прохожие разошлись. Она встала и пошла.

Воспоминание. Когда Фиона жила в соседнем доме, Марго ходила к ней завтракать, и после того, как они съедали тосты с бананом и арахисовым маслом, она смотрела, как Фиона бреется. Бритва гладко скользила по коже, с шорохом срезая волоски, сползавшие темными струями в раковину, и Фиона смотрела на нее из зеркала. С каждым разом все темнее, говорила она. Все гуще и гуще.

Она подошла к судоремонтной мастерской, где старые буксиры, вытащенные из воды, ожидали покраски, и прокатные баркасы хранились до нового сезона. Она остановилась перед магазин-

чиком на набережной. Она была такой голодной, что не могла не зайти. Там продавались большие канистры лодочного масла, немытая картошка в мешках, речные карты, сложенные в несколько раз.

На доске объявлений она заметила одно о пропавшей кошке и подошла поближе. Там было семь или восемь подобных объявлений, большинство о пропавших кошках или собаках, хозяева которых жили в лодках или квартирах с видом на берег. Но одно объявление было о пропавшей козе, жившей в поле неподалеку. Марго взяла корзину и стала набирать что попало, то и дело выкладывая что-нибудь назад.

Помимо хлеба и джема и воды в бутылках, она купила моток пищевой пленки, пачку бритв и пару ножниц. Выходя из магазинчика, она снова взглянула на объявления о пропавших животных. Где они были теперь? Они ушли, подумала она, под покровом ночи, так же, как она, и как Чарли. На тропе она смолотила четыре ломтя хлеба, давясь ими, и пошла дальше.

Той ночью к ней в сон заглядывал человек, которого она убила, и она ничего не могла с этим поделать. И весь следующий день он продолжал мерещиться ей, выскакивая из-под век, вспыхи-

вая в воздухе и растворяясь, словно угасающая лампочка. В ее видениях он не был ни слепым, ни мертвым. Он был моложе, без морщин на лице, и вскидывал руку в ее сторону.

Она приняла решение, как поступить, и назад пути не было. Мальчиком ей будет легче. Она знала это внутренним знанием. Зеркальца у нее не было, так что она наклонилась над водой, чтобы увидеть свое отражение. Над губой и на подбородке пробивались светлые волоски. Она провела по ним бритвой — и кожа сделалась гладкой и красной. У нее были длинные вьющиеся волосы, как нравилось отцу. Она все обкорнала, оставив неровный ежик, и срезанные пряди поплыли по воде. Проблема была в том, что даже в просторной рубашке она не походила на мальчика. Пусть ее груди были не такими уж большими или округлыми, но все равно. Их никуда не денешь. Она нервозно сняла рубашку. Холодный воздух саданул по животу, точно теркой, сковал дыхание. Она обернула грудь пищевой пленкой, потом еще раз и еще.

И пошла дальше. От берега тянулся тугой канат, пришвартованный к полузатонувшей лодке. Если она хорошенько постарается, то унесется мыслями далеко от этих мест. Ей четыре года,

и она кружится юлой в саду, раскинув руки, а мир мелькает всполохами. Ей десять, и она закапывает в саду записки соседского мальчика. Ей четырнадцать, и она вынимает из смеси для кекса перчинки, которые положила Фиона. Ей шестнадцать, и она уже не тот человек, каким была раньше. Ей шестнадцать, и ей теперь нужно новое имя.

Охота

Утром они все собрались на прогулку и обулись в свои ботинки, стоявшие в ряд у двери. Роджер сказал мне, что они пойдут в парк и что я могу есть все, что найду в холодильнике. Лора спросила, могу ли я помыть посуду. Когда все они ушли, стало очень тихо. Я посмотрела в окно. Сад был длинным и узким, и в самом конце стоял сарай. Я отрезала несколько долек сыра от большого куска и скормила их Иве́те. Я словно услышала, как ты говоришь спокойным голосом из-за моего плеча: *Нам нужно поймать его*, сказала ты. *Мы собираемся поймать его*.

Что мы собираемся поймать? — спросила я. Но ответа не было.

Я поискала и нашла телефон. Он был старомодный, с дисковым набирателем, а не с кнопками.

Я позвонила на работу.

Гретель? Это была руководительница словарного отдела. Ее звали Дженнифер, и она всегда была прирожденной паникершей.

Извините, что не позвонила, сказала я. У меня возникло срочное дело, и мне еще, наверное, понадобится пара дней.

На другом конце провода повисла тишина.

Это ничего? Я слышала ее дыхание. Дженнифер? Всего лишь еще несколько дней.

Тебе пришло письмо, сказала она. Я переслала тебе по электронке. Кто-то позвонил сюда среди ночи, когда никого не было, и наговорил на автоответчик.

Кто это был?

Я набрала этот номер, но это был уличный автомат. Я подумала, ты поэтому звонишь.

Ты можешь включить мне запись?

О'кей. Я уверена, что это розыгрыш. Шутка. Ну знаешь. Сейчас включу.

Раздался стук, когда она прислонила трубку к колонке, а затем зазвучал механический голос, отсчитывающий сообщения, гудки, когда она дошла до нужного, и потрескивание, когда началась запись.

Первое время была в основном тишина, только

фоновой уличный шум: машина или грузовик, проезжающие мимо, шаги по тротуару, дробный шум, как от дождя или гравия под колесами. Потом настала тишина, такая долгая, что я решила, что Дженнифер ошиблась с записью, выключила автомат или убрала трубку. Я открыла рот, собираясь позвать ее, и тут я услышала твой голос:

Гретель, сказала ты. Гретель. Я потерялась.

Ивета была в саду, обследуя норы, но, увидев меня, отряхнулась и подскочила ко мне. Земля под пожухлой травой была твердой. Повсюду в округе висели плакаты, призывавшие к нормированному потреблению воды, но до меня доносились звуки нескольких оросителей с разных сторон. Я вошла в дом, собрала сумку, нашла ключи и добежала до машины, прежде чем поняла, что не представляю, где тебя искать. Похоже, этого ты и сама не знала.

Я направилась к сараю и стала молотить кулаками в дверь, крича и крича, пока мне не открыли. Я не сразу отреагировала и продолжала секунду-другую кричать с поднятыми руками и вскинутой головой. Придя в себя, я увидела человеческую фигуру и поняла, что она боится меня. Это хорошо, подумала я, хорошо, что ты боишься, это радует.

Фиона не пустила меня дальше порога, но протянула мне стакан мутной воды, и я притворилась, что отпила немного. У нее были тонкие запястья. В сарае стояла койка с парой одеял и газовая плитка со сковородкой. В углу были составлены пустые консервные банки из-под фасоли. Больше там ничего не было. Фиона выглядела так, словно только выползла из подземелья, по которому давно карабкалась, не видя света. Она была не то чтобы высокой, но сутулилась. Мне пришли на ум старухи, делавшие ставки у букмекера неподалеку от моей работы. Она так сильно щурилась, что, казалось, ее глаза не вытащишь никакими щипцами. Над губами у нее росла густая темная щетина, и так же на переносице и подбородке. Воздух в сарае был спертый. Не вонючий, но застоялый. Я подумала, принимала ли она душ по ночам из шланга прямо в саду — как делали мы, живя на реке, — запрокинув лицо под холодными брызгами, пока дети смотрели на нее из дома. Или же она проскальзывала в дом, когда все спали, босиком, оставляя грязные следы, и полоскалась в раковине, заодно подъедая все несвежие продукты. Она не выглядела голодной, просто перехватывала что и как придется. Я знала это ощущение.

Глядя на нее, я вдруг поняла, почему Маркус был так одержим тобой. Почему он ходил за тобой по пятам и пристально наблюдал за всем, что ты делала, почему так слушал, ловя каждое слово. Роджер и Лора были правы насчет той учительницы; Маркуса притягивали сильные и более старшие женщины. Маркус любил Фиону, как позже любил и тебя, и никакой другой любви для него никогда не существовало.

Я знала Маркуса, сказала я.

Я не знаю никаких Маркусов.

Ее кожа шелушилась. Я подумала о телефонном звонке и о том, что мне сказала женщина в конюшне о тебе — как ты возникла там и исчезла. Я не могла терять время; мне хотелось схватить ее за плечи и трясти, пока из нее не высыплется все, что она знала.

Когда вы знали ее, сказала я, ее звали Марго, и вы сказали ей уйти из дома. Вскоре после этого она оказалась в том месте, где я жила тогда с матерью, на реке.

Я шагнула в сарай, но Фиона загородила мне путь койкой, сжав зубы. Я начала понимать, что для них услышать имя Марго было то же самое, что для меня услышать твое имя: тот призрак за моим столом, который уселся и съел всю еду.

Волосы у нее на макушке поредели, так что просвечивала кожа.

Я просто хочу знать, что произошло. Непроизвольно мои руки поднялись, и я медленно опустила их.

Зачем?

Потому что это может помочь мне найти Маркуса, Марго. Мне нужно найти ее.

Зачем?

Я посмотрела на нее. Что-то в ее лице напомнило мне кирпичную стену, бесчувственную и непроходимую. Она долго держала при себе свои секреты.

Потому что, сказала я, моя мать может быть в беде. Я не видела ее шестнадцать лет, но теперь мне нужно найти ее, и, может быть, Маркус знает, где она. Просто скажи мне, что ты сказала в тот вечер.

Ты им не скажешь? Ее голос срывался на шепот, словно она давно не говорила. Она наставила на меня оба указательных пальца, и я поняла, что она угрожает мне.

Ты им не скажешь, повторила она.

Я им не скажу.

Она сверлила меня взглядом. А что я получу? — сказала она.

Что?

Я никому еще этого не говорила. Я храню мой секрет. Зачем мне говорить тебе? Мне нужно что-то взамен.

Я вынула из кармана все деньги, какие там были — две свернутых двадцатки — и протянула ей.

Она покачала головой. На что они мне?

Я не знаю, что еще тебе дать.

То же, что я — тебе. Я хочу узнать, что произошло. Она слегка дрожала.

Что произошло?

Когда ты познакомилась с ней и она осталась с вами, что с ней произошло?

Я мало что помню. Я заставила себя забыть большую часть. Извини.

Она ничего не сказала на это. И я вдохнула поглубже и стала рассказывать ей о реке и о лодке, на которой мы с тобой жили; о том, как однажды пришел Маркус со своей палаткой и остался с нами примерно на месяц. Рассказывая все это, я поняла, что помню больше, чем думала; что воспоминания постепенно возвращались ко мне, незаметно для меня. Я рассказала, как мы играли в «Скраббл» и читали энциклопедию, и мастерили ветряные колокольчики и капканы.

Рассказала, как я влюбилась в Маркуса, совершенно по-детски, самозабвенно и безответно. Я рассказала ей о тебе, о твоих уроках по энциклопедии, о твоем крутом нраве и долгом, суровом влиянии на меня. Мы боялись чего-то, сказала я, но я не помню, чего именно.

Рассказав все это, я почувствовала себя выжатой, и мне стало почти стыдно. Удивительно, как твой образ, словно мрачная тень, накладывался на все, что имело для меня какое-то значение — на Маркуса и даже на меня саму. Но так или иначе, Фиона покачала головой, выражая недовольство.

Что?

Этого мало, сказала она.

Река

Новые истины. Ее звали Бен, или Джейк[10], или Мэтью[11]. Ее звали Леонард, и она была мальчи-

[10] Примечания: 10

В английском языке имя Джейк — Jake (*англ.*) — аналогично библейскому имени Иаков в русском.

[11] Примечания: 11

В английском языке имя Мэтью — Matthew (*англ.*) — аналогично библейскому имени Матфей в русском.

ком. Ее звали Пирс[12], или Джонни, или Мозес[13]. Ее звали Джо, или Дэвид[14], или Питер[15]. Она не убегала из дома. Она не встречалась с человеком по имени Чарли и не убивала его. Ее звали Аарон, или Брэд, или Мартин, или Ричард. Ее звали Алистер, или Джек, или Гарри.

Река углублялась в земельные угодья. Это было некстати. Она все шла и шла, пока сон не сморил ее. Она отмечала, как на нее смотрели люди с лодок, плывших по реке или пришвартованных вдоль берега, и понимала, что они не видели в ней мальчика. Она выглядела как нечто неопределенное — ни то, ни се — недоделанное. Она выглядела как девочка, убившая человека и обреченная теперь нести это в себе — в своих карманах, в уголках ее рта — всегда. Она свесила

---

[12] Примечания: 12

В английском языке имя Пирс — Pierce (*англ.*) — омонимично глаголу to pierce, что значит вонзать.

[13] Примечания: 13

В английском языке имя Мозес — Moses (*англ.*) — аналогично библейскому имени Моисей в русском.

[14] Примечания: 14

В английском языке имя Дэвид — David (*англ.*) — аналогично библейскому имени Давид в русском.

[15] Примечания: 15

В английском языке имя Питер — Peter (*англ.*) — аналогично библейскому имени Петр в русском.

голову на грудь, насупилась. Местами тропа проходила через такие заросли, что ей приходилось продираться, царапая в кровь руки, и свежие порезы ярко алели на фоне бурой растительности.

Она прошла через городок, посматривая на мальчишек, раскатывавших на мотоциклах, крича и перекликаясь. На бегущих мужчин с крепкими длинными ногами в ярко-зеленых шортах. На прохожих, откидывавших краем обуви собачье дерьмо с дороги на обочину, копаясь у себя в карманах в поисках жвачки, телефона или ключей. На пожилых мужчин в кепках, плывших на лодках или пивших кофе на террасе и приветственно кивавших кому-то. Она хотела найти такое тело и манеры, которые подходили бы ей. Но у нее не получалось как следует освоить этот новый образ.

Она загадала себе его. Загадала изнутри себя. Мальчика с ее лицом и руками, мальчика, в глубине которого будет скрыта Марго. Мальчика, никого не убивавшего. Мальчика, у которого не было родителей.

Она копировала их походку — всех этих мужчин, — размахивая руками, четко печатая шаг по дороге. Она внимательно изучала их, подражая мимике, движениям губ при разговоре и смехе.

Она старалась вызвать в своем теле все то же самое, старалась превратить его во что-то иное и увидеть себя новыми глазами. Она вспоминала ощущение грозной силы, исходившее от рыбаков, думала о том, как улыбался Роджер или как хмурился соседский мальчик.

И под конец она подумала о человеке с лодки, о Чарли. Вспомнила, как он двигался — немного нерешительно, но со знанием дела — по кухне, протягивая руку за ножами или связками чеснока. Подумала о его манере говорить, о загадках, которыми он сдабривал свою речь. Она закрыла глаза и подвигала ногами, пытаясь представить Чарли, каким он был в молодости, еще до того, как ослеп, когда он уверенно перепрыгивал с борта лодки на берег. Это будет, решила она своего рода дань памяти и примирения. Она нагнулась и вдавила ладони во влажную землю. Она ощутила, как из нее выходит Марго. Встав посреди тропы, она застыла, ошеломленная, и ее скрутил спазм. Она испытала внезапную и огромную скорбь от расставания с прежней собой, с тем, что ушло из нее и о чем уже никогда не будет сказано ни слова.

Его звали Маркус. Он не помнил своих родителей. Он шел вдоль канала. Он ни с кем не

знакомился и не заговаривал. Ему нравилось бегать, рыбачить, слушать загадки. Он шел так, как ходят мальчишки, останавливался и прислушивался, как делают мальчишки, и говорил, как говорят мальчишки.

Что бы там ни было раньше, это теперь не имело значения. Пищевая пленка очень туго стягивала его грудь, в складках собирался пот. Проведя пятерней по лицу, он решил, что уже чувствует прорастающие волоски, чуть жестковатые. Он поднял камень и попробовал запустить его по реке, решив, что так сделал бы всякий мальчишка. Мальчишка не будет тревожиться о том, чего он не мог разглядеть в воде. Мальчишка не будет тревожиться о том, что случилось на лодке. Мальчишка будет спать, не видя в снах застывшее лицо Чарли, внимательно глядящее на него с пола. Холод как будто не беспокоил его настолько, чтобы волноваться из-за этого. Голод сделался отдаленной угрозой, на самом дне желудка. Мальчишка будет питаться тогда, когда попадется пища, умеренно, обдуманно. Мальчишка не станет плакать, заламывая руки, над штырями для палатки.

Охота

Я снова позвонила на работу, но других сообщений не поступало. Я воспользовалась сканером Роджера и Лоры и напечатала пятьдесят объявлений с твоей фотографией и словами: ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК. Я распространила их по газетным киоскам, алкогольным магазинам и барам и бензоколонкам. В полицейский участок я не стала заходить. Что бы я сказала им? Ты пропала для меня шестнадцать лет назад. Я заехала на усыпанную листвой жилую улицу и оставила несколько объявлений на ветровых стеклах машин. За этим занятием я осознала цикличную иронию происходящего. Я распространяла объявления о твоей пропаже в тех же местах, где Роджер и Лора должны были распространять объявления о пропаже Маркуса в то время, как он был с нами, на реке. Я понимала, что вскоре должна буду отправиться туда. Это было единственное место, где я еще не была, хотя я всегда представляла тебя именно там. Ты была мутной рекой; ты была соснами, сбрасывавшими летом кору, и землей, усеянной моими капканами. Я подняла автомобильный дворник и положила под него объявление. Я пока не была готова вернуться туда.

Температура подскочила еще выше, и Роджер предложил искупаться в бассейне. Мы сидели за столом и пили кофе, который он сварил. Все окна были открыты, а Ивета распростерлась на полу у моих ног, вывалив язык.

Я старалась не смотреть на сарай. Я вспоминала все больше и больше, но мне казалось, что это все недостаточно ценно, чтобы Фиона открыла мне свой секрет. Я вспомнила одно бредовое утром, когда мне было восемь или девять, и ты сделала мне воздушного змея — твои волосы, заплетенные в косички, развевались по ветру, а конец нити ты зажала в зубах. Мы забрались на крышу лодки, и ты раскинула руки над головой и запустила змея с воплем восторга, словно наделяя его силой взмыть до самого неба, кружась над нами, увлекаясь вслед за ветром. Я вспоминаю, как иногда ты молчала целыми днями, лежа на кровати или сидя на крыше и глядя на реку. Это заканчивалось выяснением отношений, битыми тарелками и руганью. Оглядываясь назад, я думаю, что иногда ты выеживалась без всякой причины, просто чтобы доказать мне что-то. Как тогда, когда ты остригла нас обеих наголо. Или в те моменты, когда ты говорила мне, что я веду себя так же, как ты, и что так не годится, не годится

мне так вести себя. Меняйся, говорила ты. Думай об этом так упорно, чтобы ты перестала быть моей дочерью. Ты все время говорила о космосе, о расположении планет и о собаке, которую запустили ученые и которая никогда уже не вернется. Этот мир никогда не был достаточно хорош для тебя. Ты всегда считала, что есть что-то большее; всю жизнь ты ждала, когда же подвернется что-то большее.

Роджер тронул меня за руку и что-то сказал.

Что? Извините.

Вы были где-то далеко. Я спросил, не хотите ли позаимствовать купальник?

Вообще-то я подумывала остаться здесь.

Правда? Это приятный бассейн.

Дело в том, что я побаиваюсь воды. Я встала и налила себе еще кофе, избегая его взгляда.

Нахождение в чужом доме вызывало у меня чувство неловкости, к которому я еще не вполне привыкла. Прошлым днем я пыталась быть максимально полезной. Я вымыла кухню и пропылесосила гостиную. Я не решилась готовить, но наведалась в местный супермаркет со списком, который написала Лора своим аккуратным почерком. *Молоко, мандарины, зубная паста, подгузники.* Я сидела на диване, вокруг меня пол-

зали дети, и я читала им книжки с картинками. Один ползун еще не разговаривал, но остальные вовсю верещали, коверкая слова или придумывая собственные. Вайолет подлезла мне под руку и прижалась лицом к моей груди. Я слышу твой бух. Мой что? Для пояснения она принялась отстукивать пульс по моей руке.

Я еще никого не встречал, кто бы боялся воды, сказал Роджер.

Я заколебалась. Они доверили мне личные сведения о себе, которых больше никто не знал. Казалось несправедливым ничем не поделиться с ним в ответ. Личные истории сделались бартерным товаром в этом доме.

Все не так страшно. Это не фобия. Просто я не люблю лишний раз окунаться в воду. Наверно, это связано с тем, где я выросла. Вы знаете, на реке, где…

Где пропала Марго.

Да. Я помню какие-то вещи. В основном связанные с матерью. И кое-что о канале. И тот день, когда пришел Маркус, то есть Марго. Но в остальном это какой-то туман. У вас не бывало такого с воспоминаниями?

Он сдавленно хохотнул.

Прошу прощения. Целые куски воспоминаний

размыты, словно залиты водой. Я пытаюсь думать о них, но там одна пустота.

Странно.

Но я вижу самые концы воспоминаний.

Самые концы? Он сморщил нос. Его лицо, с тонким ртом и бровями, совсем не походило на Маркуса.

Я вижу, как что-то делаю или говорю, объясняю я. Мои проблемы, которые тянутся оттуда. Думаю, боязнь воды — одна из них. Вообще, я думаю, что-то произошло в воде. Возможно. Я не знаю.

Что ж, вы должны пойти. Это может все прояснить.

То есть, вы считаете, это заставит меня вспомнить?

Никогда заранее не знаешь.

Я поставила пятки на плитки пола, чуть холодившие кожу. Вы знаете теперь, куда она ушла, сказала я. Вам не хочется пойти туда? Посмотреть, вдруг она еще там. И если даже нет, посмотреть то место, где она перестала быть Марго.

Он отодвинул по столу чашку от себя и снова притянул. Мы говорили об этом, сказал он. Лора сказала, нам нужно просто пойти туда. У нас есть друзья, которые могли бы побыть с детьми пару дней. Лора думает, мы найдем ее, прямо там. И

она будет ждать нас, в том же самом возрасте и, уж конечно, того же пола. Словно она… Он пытался подобрать правильное слово. Кристаллизовалась.

Вам нужно пойти туда. Я накренилась вперед на стуле и почти встала. Я смотрела карту. Это недалеко. Это совсем недалеко. Даже если ее там нет. Вы сможете увидеть это место. Может, вы больше поймете. Найдете своего рода катарсис.

Я задумалась, почему меня так воодушевляла эта мысль — потому ли, что я могла помочь им, или же потому, что они могли отправиться туда вместо меня и, может быть, найти Маркуса и тебя и привести назад вас обеих. Мне хотелось думать, что причина была первой из двух, но я не была в этом уверена. Я не думала, что такая жизнь, которой я жила, могла воспитать во мне бескорыстие.

Вы не понимаете, сказал Роджер. Мы говорили об этом, но если бы она могла вернуться, она бы вернулась. Мы ждали ее. Где же она? Значит, что-то не дает ей вернуться домой. У нее теперь другая жизнь? Или она умерла. В любом случае мы здесь, если она захочет найти нас; мы никогда не уезжали, чтобы она всегда могла вернуться. Он внимательно смотрел на меня. Вы должны

это понимать. Почему вы не искали вашу маму раньше?

Я искала.

Но перестали.

Да.

Почему?

По той же причине, наверно. Ей не нужно было уходить. Она сама так захотела. Думаю, это так или иначе было у нее в крови. Но, я думаю, теперь ей нужно, чтобы я нашла ее.

Ну что ж. Тогда идем в бассейн. Вы даже можете не заходить в воду, если не захотите. Можете побыть с краю. Это пойдет вам на пользу.

Я подумала, что поспорю с ним, но, когда все начали собирать вещи — надевать шлепанцы, собирать сумки, — я стала собираться с ними. Я почувствовала, что так будет лучше всего. Они были словно армия, и я внезапно, необъяснимым образом тоже втянулась с ними. Я пожелала — ни с того ни с сего, такое глубинное, почти болезненное чувство — большую семью, такую, чтобы не уместиться в обычную машину, целый автобус родных людей, и я в хвосте.

В бассейне образовался затор перед кассой, так что я отправилась в раздевалку одна. Было два часа дня, и людей почти не было. Под душем

стояла одна голая женщина. Может быть, когда я стану старше, я тоже стану регулярно ходить в бассейн или еще куда-то, установлю себе какой-нибудь режим, порядок, налажу жизнь. Кабинок там не было. Я нашла свободное место и стала переодеваться. Купальник, который дала мне Лора, оказался узковат на бедрах и внизу. Я набрала вес. Опустив взгляд, я отметила, что стала больше походить на тебя. Я не могла сказать с уверенностью, что я чувствую на этот счет. Как будто чем ближе я физически подходила к тому, чтобы найти тебя, тем больше становилась похожей на тебя. Вошла Лора со всеми детьми.

Гретель, Гретель, сказала Вайолет, тебя не пустят, если ты не примешь душ.

Я вообще-то не принимаю душ.

Совсем никогда?

Совсем.

Мне дали на руки младенца. Он, похоже, понял, что я ему не гожусь, и разорался так, что побагровел, а потом срыгнул мне на купальник.

Теперь тебе придется принять душ, сказала Вайолет, явно довольная собой.

Отступать было поздно. В длинном окне позади бассейна я увидела свое размытое отражение, белый круг на месте лица и бесформенные ноги.

От хлорки в воздухе першило в горле. Я не понимала, зачем оказалась здесь. В воде отражались лестницы на вышки для ныряния. Вайолет поднималась на одну из них: с маленькой головкой, в ярко-зеленом купальнике, с тонкими, как у насекомых, ручками и ножками. Роджер позвал ее по имени. Я видела Лору в лягушатнике, качавшую младенца. Крыша качнулась и оказалась под моими руками; окна щелкнули и загудели. Я слышала, как громыхает шлюз рядом с нашей лодкой, как затворы размашисто открываются и закрываются. Я видела тебя на крыше лодки, с раскинутыми руками, хотя воздушного змея заметно не было, твой рот был раскрыт в крике, но слова уносил ветер, прежде чем они долетали до меня.

Я не видела падения Вайолет, но услышала всплеск. Она была зеленым неровным пятном под водой. С другого конца бассейна бежала блондинистая спасательница. Я встала на самый край, и мне показалось, что я что-то вижу на дне бассейна, над металлической лестницей в углу. Я шагнула вперед и упала в воду.

Вода была холоднее, чем я ожидала. Вайолет была подо мной и продолжала погружаться. Я нырнула за ней, держа глаза открытыми в хло-

рированной воде. За металлической лестницей возникло движение. Когда я взглянула в ту сторону, Бонак устремился к нам, оттолкнувшись от плиток пола и подтянув ноги к животу. Его горло было бледным и тяжелым, его хвост раскачивался из стороны в сторону. Он был доисторического вида, угловатый и в золотистых пятнах; внизу возникла белая вспышка. Его длинная непроницаемая морда была повернута к нам.

Я схватила Вайолет за лямки купальника, присела на дно бассейна и оттолкнулась обеими ногами. Поверхность воды казалась очень высоко. Я видела искаженные фигуры людей вдоль края бассейна, различала цвета их одежды, их движущиеся руки. Воздух горел во мне. Вайолет кашляла и пихалась. Ее рука заехала мне по носу. Вода окрасилась кровью. Кто-то вытаскивал меня; край бассейна ободрал мне лодыжки. Шум накатывал слоями, так что я не слышала кричащего младенца и криков Лоры, пока не встала на ноги. Я посмотрела на воду, ища там что-то забытое, притаившееся за лестницей или ползущее по дну, всплывающее, пробирающееся через лягушатник, приближаясь к нам.

Четыре
Тук-тук, волк

Я решила, что сойду с ума, если не буду работать, что нам пойдет на пользу порядок, что мы не можем продолжать так вечно, и я сказала тебе, что по утрам один час должна быть тишина.

Тишина? Переспрашиваешь ты, как будто впервые слышишь это слово.

Да, говорю я. Тишина. Должна на самом деле быть тишина. Ты можешь сидеть со мной в гостиной, но я работаю, так что тебе надо сидеть тихо. Молча. Тебе надо сидеть молча.

Ты склоняешь голову набок. Работаешь? Тебе только тринадцать; ты нигде не работаешь, Гретель. Ты говоришь это с такой убежденностью, что я не нахожу, что ответить, и только воздеваю палец и держу, пока ты не отворачиваешься, тихонько подходишь к креслу, садишься в него и закрываешь глаза.

Я пишу электронное письмо Дженнифер, и она сразу же отвечает, что рада моему письму. Она дает мне слово, довольно легкое: *экстраординарное*. Я варю кофе, наливаю тебе чашку, ставлю

рядом с твоим креслом и сажусь за стол. Впервые за всю неделю в доме тишина. Я наклоняюсь над столом и стараюсь не смотреть на тебя. Я чувствую, как ты смотришь на меня. Я достаю свои карточки для заметок: белые для цитат, голубые для ссылок, желтые для возможных определений. Я отпиваю кофе.

Когда я только начала работать со словарем, я была еще совсем молодой и часто думала о тебе. Ты была тогда внутри меня, но с годами это ощущение слабело. У меня бывало такое, что я открывала рот и слышала, как говорю предложение, которое — я это знала — было порождено моей жизнью с тобой. Ты сделала меня такой, и я ничего не хотела так сильно, как изъять тебя из своего нутра, подобно тому, как болезнь Альцгеймера изымает из мозга кусок размером с апельсин. Ты обитала во мне; ты формировала спирали моего мышления. Я приходила на работу и каждый день сидела за одним столом, а во снах видела нечто, плывущее в водах реки Айсис, и твой рот, произносящий слова, которых я не слышала. В обеденный перерыв я заходила в один и тот же магазин купить сэндвич, и как-то раз, стоя в очереди, я внезапно поняла, что ты наделала, сотворив собственный язык и обучив

меня ему. Мы стали чужаками в этом мире. Мы стали словно последними людьми на Земле. Если язык хоть в каком-то смысле определяет наше мышление, тогда получается, что я не могла стать иной, нежели той, кто я есть. А на том языке, на котором я говорила с детства, не говорил больше никто. Поэтому мне всегда суждено было оставаться в изоляции, в одиночестве, чураясь всех людей. Это было в моем языке. Это было в языке, который ты дала мне.

Я не сделала никакой работы по *экстраординарному*, не считая того, что упорядочила карточки для заметок. Настольные часики сообщают мне, что прошло два часа. Внезапно мне хочется сказать тебе, что я больше в это не верю — в то, во что поверила, стоя в той очереди. Я не верю, что язык прорастает сквозь мозг и что я такая, какая есть, из-за того языка, который ты мне дала. Нет ничего предопределенного. Только когда я поднимаю глаза на твое кресло, тебя там уже нет. Мне, разумеется, следовало учитывать это, следовало помнить, как ты испарилась у меня на работе, как уехала на том автобусе. Я поднимаюсь наверх. В ванной льется горячая вода, но пробка не вставлена, и тебя там нет. Я закрываю кран. Ты открыла все окна на верхнем этаже, так что в дом

влетает с полей нагретая пыль от сухой земли. Выглянув из окна твоей спальни, я вижу тебя поднимающейся на холм, как мы иногда ходили гулять, бодро маршируя и размахивая руками. Я спускаюсь вниз и иду к каменной стене, окликая тебя по имени. Ты машешь поднятой рукой, но не оборачиваешься.

Куда ты идешь? — кричу я. Ты не останавливаешься. Я всю свою жизнь гоняюсь за тобой. Я уже почти решила вернуться в дом, сесть за стол в тишине и заняться работой. Стой, кричу я, перелезаю через стену и устремляюсь за тобой. Слишком жарко для погони. Ты поднимаешься на холм впереди меня и останавливаешься, уперевшись руками в колени. У меня возникает одна из тех кошмарных мыслей, которые всплывают в самый неожиданный момент: было бы так просто, случись у тебя сердечный приступ. Но ты только переводишь дух и идешь дальше, петляя. Я иду наперерез через поле, чтобы догнать тебя. Разумеется, тебя зовет вода. Тень от облаков, плывущих по небу, ложится мне на плечи. Я настигаю тебя у извилистого, почти пересохшего ручья. Ты зачерпываешь воду горстями и плещешь на лицо. Я присаживаюсь рядом, тяжело дыша.

Что ты делаешь? Почему ты убежала от меня?

Мне было жарко, говоришь ты тем категоричным тоном, который отметает любые возражения. Я наклоняюсь рядом с тобой и зачерпываю воду. На вкус она слегка отдает железом, чем-то фабричным, трубопроводным. А когда я поднимаю взгляд, застаю странное выражение на твоем лице — знающее, вдумчивое, почти животное. Как у одной из тех брошенных кошек, которые иногда забредали к нам на реке и крутились поблизости, пока так же быстро не исчезали.

Река

Важным стало только идти, не останавливаясь. Минуя городки за городками. Маркус не ел весь день. Еда в его мечтах была самой простой: ломти хлеба без корки, булки без начинки. Так не годилось. Он представил у себя в уме железный ящик и сложил туда целый пластиковый пакет, набитый едой, его родителями с вечными отметинами от очков на переносицах, Чарли, который заботился о нем до самой смерти, рот Фионы, произносивший те ужасные, кошмарные слова.

Он продолжал видеть признаки присутствия водяного вора. Он замечал новые объявления о пропавших кошках и собаках, а кроме того, рыба

соскакивала с лесок и овцы терялись из маленьких, почти диких стад, пасшихся по берегам. Пара лодок, мимо которых он прошел, готовилась к зиме: окна были забиты досками, над дверьми висели розочки от бутылок в качестве сигнализации. Какая-то женщина привязалась к нему и не отставала десять шагов, повторяя, чтобы он берег себя, он ведь будет беречь себя? Когда он повернулся к ней в растерянности, не зная, что сказать, она всучила ему нож, и он тщетно пытался вернуть его ей.

Когда она скрылась из виду, он положил нож в сумку, но не стал чувствовать себя лучше. Ему только стало казаться, что теперь он выглядит как некто, способный убить человека. Весь остаток дня он чуял, что за ним медленно идет слепой мертвец, прислушиваясь к звуку его шагов, чтобы не потерять след. Ему хотелось обернуться и сказать, что он не хотел убивать его, что это был несчастный случай. Ему хотелось прыгнуть в воду, где было тихо и спокойно. Только мертвец уже был в воде, со своими длинными пальцами и слепыми глазами. Он продолжал шагать. Река была дикой и извилистой.

Перед ним раскинулась свалка: черные мешки с мусором, обшарпанный диван, холодильник на

боку. Дальше росли деревья с прямыми стволами. Было не позже полудня. Он нагнулся, прищурившись, над парой мешков, посмотреть, что там внутри, но запах отпугнул его. Слева виднелся шлюз, вода в котором бежала мощно и быстро, точно дорога. На деревянном заборе была табличка с надписью, такая старая и стертая, что оставались лишь отдельные буквы: ОПА Н. Он не знал, что это значит; ему было все равно. Вокруг было достаточно свободного пространства, чтобы уйти от воды так далеко, как он не был уже много дней, если не недель. Он стукнул себя кулаком по голове в место над ухом, чтобы взбодриться. Он был так голоден, что при движении у него перед глазами плясали белые пятна. Он решил, что не будет думать о мертвеце. Он не будет о нем думать. И он еще раз треснул себя по черепу.

Он сбросил сумку на землю и углубился в деревья. Склонил голову, высматривая что-то. Через пару шагов показались красные пятнышки брусники, и он положил одну в рот, подержал на языке и выплюнул. Раскопал немного землю под несколькими деревьями, сам не зная, что ищет, но чувствуя, что должен что-то найти. Я не могу идти дальше, подумал он. Я больше не могу идти. Он взглянул наверх, и на него накатило чувство

огромного облегчения. Он сделает привал, всего на день. Он будет спать и спать.

Он поставил палатку. Сел у входа и стянул с себя ботинки и носки. На коже вздувались мозоли. От него разило потом. Ничего. Он так устал, что не мог отличить одну часть тела от другой. Он задремал, то проваливаясь в сон, то просыпаясь, вскидывая голову с груди и видя свои холодные голые ноги в грязи. Он открыл рюкзак и, обшарив его, собрал щепотку хлебных крошек и съел их. Поспал еще немного. За его закрытыми глазами мелькали сны о мертвеце, из рук которого вырастала лодка, и смрадно пахло горелой телятиной. Мертвец приблизил свой янтарный глаз к его глазу и моргнул — и тогда Маркус вздрогнул и с криком проснулся.

Неподалеку сидела на корточках девочка. Черноволосая, лохматая, розовые колготки забрызганы грязью, пальцы погружены в землю, немигающий взгляд. Он издал вопль и уполз в палатку.

Девочка встала, обтерла руки о бедра. Одежда была ей мала, в обтяжку на запястьях и лодыжках. Ее рот был открыт. И она рылась в его рюкзаке, который вытащила из палатки. Подойдя к ней ближе, он увидел, что она держит книгу, ту, что

он взял, уходя с лодки мертвеца.

Тебе она не понравится, сказал он так громко, что его голос откатился на него обратно от деревьев.

Она встряхнула книгу и протянула ему, хмуро глядя исподлобья. У нее было угловатое лицо; брови сходились в одну недовольную линию. Он не знал, что делать. Он скатал свой спальный мешок в тугой комок, застегнул пуговицы на пальто, снова натянул ботинки. Ему так не хотелось никуда идти, хотелось сидеть, спать и не двигать ни единым пальцем. Девочка чихнула и вытерла нос ребром ладони. Подошла к нему на пару шагов. Она была совсем близко и что-то протягивала ему. Это был кусок хлеба. На него нахлынула волна безумной радости. Он запихнул хлеб в рот так быстро, что чуть не поперхнулся, и стал неуклюже жевать. Она протягивала ему книгу. Словно между ними состоялась какая-то сделка, о которой он мог только догадываться.

Они сидели на земле перед палаткой. Девочка была такая чумазая, как будто ее выкопали из-под земли. В ней действительно было что-то, наводившее на мысли о кореньях и луковицах: узловатые коленки, руки и ноги, несуразно торчавшие из одежды. Она почесала за ухом, запустив пальцы

в густые волосы. Ее карманы оттопыривались с обеих сторон.

Он открыл книгу и стал читать ей. Шрифт был мелким, и ему приходилось напрягать глаза. Там было немало слов, которых он не знал. Рядом с загадками были причудливые, выраставшие одна из другой картинки деформированных существ с головами от одних животных и телами от других. На одной из картинок он увидел амбар из той загадки, что ему рассказал мертвец в самый первый день.

Тебе это не понравится, снова предупредил он, но я почитаю тебе, если хочешь. У тебя есть еще где-то хлеб? Она ничего не ответила.

Не думаю, что тебе это понравится, сказал он. И понял, что не хочет, чтобы она ушла.

Только ей как раз понравилось. Ее рот двигался вслед за словами, палец указывал в книжку, требуя: эту еще раз. И он перечитывал загадку уже медленнее, запинаясь на некоторых словах. Часто слова, которых он не знал, девочка произносила с легкостью. Она налегала на книгу, водя грязным пальцем по странице, и читала вслух. Слова легко давались ей, словно она сама их выдумывала. И каждый раз при этом она взглядывала на него, довольная как пряник, кривя

широкий рот в улыбке, показывая желтые зубки.

Что может обойти весь свет, не покидая своего угла? Чем больше ты их делаешь, тем больше оставляешь за собой.

Не дослушав очередную загадку, она встала и побежала куда-то, размахивая руками. И он смотрел ей вслед. Обследовав сумку, он отметил, что она забрала: две пары трусов, пустой пакет из-под хлеба, две рубашки. Из книги загадок была неровно вырвана одна страница.

Он заполз обратно в палатку и положил голову на твердую поверхность. Он тосковал о том, что утратил, о том, что отдал, тосковал о сделанном. Он чувствовал своих родителей где-то у реки, вниз по течению. Они искали его, а может, и нет. Они сидели за круглым кухонным столом, кто-то протягивал руку за чашкой, кто-то перелистывал газету, а кто-то открывал настежь входную дверь, собираясь выйти. Ему хотелось, очень хотелось, чтобы они нашли его. Он бы рассказал им, почему ушел от них, почему так поступил. И все бы стало в порядке. Если бы они поняли его. И тогда бы они вычеркнули друг друга из своих жизней, чтобы уже никогда не поддаться воспоминаниям. Они сидели за круглым кухонным столом, и там же был мертвец, глядевший на него.

То, что Фиона предрекла ему, кружилось по верху палатки спутанными телами. Они были цвета кожи, сухими и чешуйчатыми. Они заползали ему на грудь, забирались в рот. Его щеки напрягались, с трудом сдерживая их. То, что, по словам Фионы, он сделает со своим отцом. И с матерью. С собственной матерью. Он проснулся в поту, извиваясь в спальном мешке.

Охота

Я купила бутылку вина и незаметно пронесла ее к сараю. Фиона чуть приоткрыла мне дверь, показав часть лица. Я кое-что вспомнила, сказала я. Она впустила меня. Мы пили вино из чайных чашек, одну за одной. Она смаковала его и гладила себя по животу одной рукой.

На обратном пути из бассейна я вспоминала все больше и больше, и мой прежний ручеек разлился в реку. У меня еще оставались пробелы — большущие дыры размером с туннель для поезда, — однако я уже могла сложить какую-то историю.

Что ж, сказала она, шумно прихлебывая вино. Ты бы лучше рассказала мне.

Я сомневаюсь, что ты сумеешь это понять.

Она поставила чашку на пол, звякнув о блюдце,

закинула ноги на кровать и откинулась на спинку стула. Я слышала снаружи Ивету, шебуршавшую в кустах, и звуки телевизора, доносившиеся из дома.

Ты знаешь, сказала Фиона, впервые я увидела то, чего не видели другие, когда была мальчиком и смотрела, как кастрируют быков на ферме родителей. Моим сестрам отец не давал смотреть, но меня взял. Мне всегда хотелось знать, зачем он это сделал. Я был таким стеснительным, что едва мог соли попросить. Мужчины, проводившие кастрацию, приехали из ближайшего городка. Быки были молодыми и боялись, и я им очень сочувствовал. За час обработали двадцатерых. Отец держал меня за руку, и мы были достаточно близко, чтобы рассмотреть то, что у них отрезали. Это напоминало странные растения.

Фиона снова взяла чашку и подняла ее словно для тоста.

Когда я отвел взгляд от всех этих отрезанных яиц, я увидел чью-то фигуру в углу амбара, стоявшую за стогом сена. Это была я сама, но только в женском облике. Так я впервые заранее поняла, что должно произойти.

Она допила чашку и показала рукой, чтобы я дала ей бутылку. Передавая бутылку, я почуяла,

как от меня пахло хлоркой и потом.

Так ты мне расскажешь или нет?

Да, сказала я. Я вспомнила, чего мы боялись. Я сделала глубокий вдох. Я не знала, насколько это удачная идея — рассказать ей такое, высказать это вслух. Казалось безумием говорить об этом в таком месте, в ветхом сарае с краю сада.

Мы звали его Бонак, сказала я. Так мы звали все, чего боялись, но больше всего мы боялись его. Я увидела его в бассейне. Как оно плыло ко мне. Это было живое существо, животное. Такое здоровое. Я видела его в воде.

Существо?

Да.

Я ожидала, что она рассмеется или отправит меня восвояси, но ничего подобного. Я вдруг почувствовала большую усталость, словно пробежала марафон или проплыла много миль. Я не сказала ей о том, что еще начало возвращаться ко мне: капкан, самодельная удочка, стекло люка в крыше лодки под моими локтями.

И что с ним случилось? — спросила она.

Мне стало интересно, поверит ли она мне. Я и сама не была уверена, верю ли в это или просто выдумала себе что-то, что никак не могло быть правдой. Существовали законы (*как то: универ-*

сальная сила притяжения между всей материей; кислород — это бесцветный газ без запаха и вкуса, жизненно важный для всех живых организмов), а то, что я предполагала, никак не вписывалось в рамки законов, как мы их понимали. Нечто, жившее в воде, настолько крупное, что оно забирало детей, убивало собак. Я задумалась — если я правильно все помнила, — было ли оно действительно реальным? Или это мы наделили его жизнью? Я не могла решить, что из этого хуже.

Я думаю, моя мать убила его, сказала я. Фиона откинулась на спинку стула, так что передние ножки поднялись от пола, и мне показалось, что она меня не слушает. Я заметила, что она прибралась в сарае, выбросила гору банок из-под фасоли, заправила постель. Мне не приходило в голову, что, пока я перебирала в памяти прежние дни, она могла заниматься тем же и тоже могла прийти к какому-то заключению. Она подтянула плечи, словно ручки сумки.

Я нуждаюсь в хорошей еде, сказала она. Завтра в обеденное время мы это решим. Я расскажу тебе, что увидела.

Река

Девочку в розовых колготках звали Гретель Уайтинг, и на следующий день она осталась с ним дотемна. Он привык к ней. К тому, как она молола всякий вздор, как убегала без предупреждения. Где огонь? — говорила она и хихикала. Часто она говорила с собой больше, чем с ним, бормоча что-то. Сумчатка, говорила она. Благоденствие. Равноденствие. У нее была дырявая целлофановая сумка, которую она называла вынос, а когда ветер стихал и было слышно реку, она подносила ладонь чашечкой к уху. Ты слышишь? Мешанина.

Я забыла, сказала она, засунув руку в карман, и достала крошащееся пирожное. Любишь такое?

Да, сказал он. Оно было мягким, пористым и замасленным от ее пальцев. Он испытывал такое облегчение от ее присутствия, что ходил за ней повсюду. Он не сознавал, насколько он был одинок, какими долгими были его дни. Он беспокоился, что она внезапно уйдет, без предупреждения, и тогда часы снова потянутся, точно годы, и его опять станут одолевать страхи. Ее волосы были заплетены в неровную косу, торчавшую из-за воротника, отчего он решил, что она

живет с кем-то.

Где твои родители? — спросил он.

Моя мама морская леди, сказала она. У нее плавники вместо ног и жабры. Она резвится в воде.

Что это значит?

Это значит, что она русалка.

Это неправда, сказал он, хотя без особой уверенности.

Ладно, идем сюда. Она выглядит как ты и я, сказала она. Она может дышать под водой; она знает все до последнего слова в мире, она археолог и вивисектор, и всеобщая знаменитость. Я ее зову доктор или С. А она меня зовет Эль или Гензель, хотя не говорит почему. Она может прорыть весь мир насквозь и много раз так делала, ей не нужно спать, она умеет глотать животных целиком, она говорит, что она беглянка, но на самом деле она наместница-кудесница, и прехорошая. Гретель перевела дыхание. А также, сказала она, она умеет реально вкусно готовить.

Он медленно шел за ней. Он слышал, как течет река. Он меньше доверял ей, когда не видел. Словно она могла забраться на сушу, как если бы земля была просто лестницей. Гретель влезла на поваленный холодильник. Кепка сползала ей на глаза, лохматый шарф закрывал пол-лица.

Наполз туман, окутав ее лицо и срезав часть тела. Вещи выплывали из тумана, словно перемещаясь, оказывались там, где их не ожидали. Ему хотелось больше расспросить ее о матери, обо всем, что она наговорила про нее, ложного и правдивого, но только он хотел спросить…

Вон там, сказала она. Указывая куда-то. Вершки и корешки. Они там.

Она не шла, а перескакивала с одного места на другое. Он шел на ее голос, звавший его. Ей, похоже, нравилось его имя. Она расчленяла его на отдельные слоги: Мар-ку-с. И придумывала прозвища: Мари, Каркас, Рама. Поравнявшись с ней, он увидел у нее в руках какую-то штуковину из проволоки. Она раскрыла ее шире.

Что это такое?

Она ничего не ответила. Нужно найти их все, сказала она. Это были капканы, внутри которых были по большей части полевые мыши, пара жаб доисторического вида и крупные нутрии, похожие на крыс и не внушавшие ему симпатии. Большинство из них она отпускала, и они неуклюже уползали. А дохлых зверушек она брала с собой. Ему она дала маленькую, но упитанную мышь, и он положил ее в карман и попробовал забыть о ней. Собрав все капканы, девочка при-

нялась снова расставлять их, кладя в них обрезки мяса и колбасную кожуру, при виде которых он опять почувствовал голод.

Я пытаюсь поймать что-то крупное, сказала она. Он подумал о водяном воре, о блесне, которую делал Чарли перед смертью.

Типа лису? — спросил он.

Она пожала плечами.

Или барсука?

Она нахмурилась. Типа Бонака.

Он почувствовал, как у него внутри что-то опустилось, как будто они перешли через гребень холма, хотя они стояли на месте. А что это?

Он смотрел, как она устанавливает очередной капкан, приводя пружину в исходное положение.

Что угодно, сказала она, скрипнув зубами.

Как это?

Прошлым летом это была одна тупая псина, такая голоднющая, что Сара сказала, она нас покусает. А давным-давно это был ураган, чуть не разбивший лодку, а в другой раз это был пожар, который сжег почти весь лес, и мы думали, он и нас сожжет. Этой зимой будет что-то еще. Сара говорит, может, это будет худший Бонак из всех, но мы пока не знаем.

Это то, чего вы боитесь?

Это Бонак, сказала она просто, и больше не возвращалась к этой теме. Она протянула ему капкан, чтобы он получше рассмотрел его. Когда он спрашивал, как они действуют, она только указывала на разные части, тараторя всевозможные слова.

А потом эта штука, а потом еще вот эта, и там дальше. Видишь?

Они опять оказались у реки — он не заметил, как они проделали круг. Земля хрустнула под его ботинком. Его легкие зудели от холода. Она показала ему на что-то металлическое, висевшее на прибрежных кустах.

Разводка, сказала она. Ветряные колокольчики. Он к ним не притронется.

Он стоял и смотрел, как она насаживала дохлых зверьков на спицы и втыкала их в берег, брюшками в сторону реки. Грязь вдоль берега была вязкой, рыжеватого оттенка; он смотрел, как она засасывает его ботинок.

Слушай, сказала она, подняв ладошку к его рту. Они стояли в тишине. По реке прошел ветер, разогнав туман по берегам и тронув колокольчики, отозвавшиеся тонким перезвоном. Она проткнула дохлую жабу сквозь брюхо. Он подумал, что

это, наверное, служило каким-то оберегом от воды, от течения, от водяного вора, от Бонака.

Это ведь ничего не значит, сказал он и тут же осекся — такую злобу он увидел в ее взгляде, в изогнутых бровях и искривленных губах. Она повернула ближайший колокольчик так, что он зазвучал сам собой. Он подумал о ее матери, которая плавала в реке и могла не выныривать за воздухом и не останавливаться, чтобы поспать. Он подумал о странном облегчении, которое он испытал бы, рассказав кому-нибудь, что он совершил на лодке, и как он не мог нормально сжать пальцы, потому что чувствовал, как все еще сжимает штыри для палатки. Он подумал, как ее мать прорывается через земное ядро, одновременно оставаясь на месте и удаляясь, целиком заглатывая животных.

Он влюбился в Сару еще до того, как увидел ее.

Охота

Ресторан назывался китайским, но в меню наряду с фаршированными блинчиками и чоу-мейн[16] была и жареная картошка, и макароны с сыром. У нас ушел почти час, чтобы подняться

---

[16] Примечания: 16
Китайское рагу из курицы или говядины с лапшой.

на холм, в центр города. Фиона сторонилась солнечного света и старалась держаться в тени. Мне хотелось спросить ее, как давно она покидала сад. Но я сдержалась. Когда я предложила ей руку, она выпрямилась и искоса глянула на меня с оскорбленным видом.

Мы оказались единственными людьми в ресторане. В каждом окне висел красный бумажный фонарь, в большом аквариуме плавал карп размером с мое предплечье, а через проем в стене мы видели, как шеф-повар курит, глядя в телевизор. Для учтивой беседы атмосфера была неподходящая. Мы сидели, уткнувшись каждая в свое меню. Периодически я посматривала в ее сторону, но она была вся в себе, сжимая красное кожаное меню узловатыми пальцами с синими венами и вдумчиво касаясь языком верхней губы. Я вспомнила тот поход в ресторан с тобой: тарелку сырого мяса, которое ты заставила себя съесть, бокал вина, запрокинутый, словно телескоп над твоим лицом, презерватив, натянутый на нож. В тот момент Фиона была — я так думаю — счастлива тем простым, немудрящим счастьем, которое ты отрицала. Она вертела палочки для еды, разглядывала дизайн своей тарелки. Потом она повернула меню ко мне и стала показывать

разные блюда. Внезапно я обрадовалась, что привела ее сюда, даже если ничего из этого не выйдет, даже если она мне ничего не расскажет. Легко было представить, как Роджер или Лора ждали и ждали Марго; в то время как женщина, сказавшая ей уйти, жила у них в сарае. Теперь же я поняла, что Фионе было еще тяжелее, что она тоже жила в ожидании все это время. В ожидании кого-то, кому она смогла бы рассказать, кому она смогла бы объяснить. В ожидании того, чтобы стать кем-то еще, помимо той, которая вынудила их дочь уйти.

Официантке было лет четырнадцать. Я заказала креветочные крекеры.

А что такое «Бакарди Бризер»? — сказала Фиона.

Официантка принесла ей ярко-оранжевую бутылку, и мы с ней смотрели, как она пробует это. Она моргнула на меня. Допила. Попросила еще.

Я не знала, что делаю, но Фиона, похоже, была в своей стихии; она решила — гулять так гулять. Для начала она заказала булочки со свининой ча-шао[17], говяжий желудок с черными бобами,

[17] Примечания: 17

Свиная лопатка в маринаде, запеченная на гриле. Популярное блюдо кантонской кухни.

дим-самы[18] и кальмар соль-перец. Затем целого зажаренного морского окуня и сверх того рубленую свинину под соевым соусом с дробленым водяным орехом; говяжью требуху с прозрачной вермишелью[19] и пекинскую капусту в горшочке, ростки фасоли с рыбой сухого посола и лапшу дан-дан[20]. Рисом мы пренебрегли, но Фиона захотела жареной картошки. Официантка не спешила с выполнением заказа. На кухне шеф-повар выключил телевизор.

Фиона съела все креветочные крекеры, после чего подняла пустую миску, чтобы повторить заказ. Когда она пила свой третий «Бакарди», я заказала бокал вина. Еда прибывала по мере готовности — огромные блюда теснились на бумажной скатерти. Фиона, точно блаженная, поглощала еду прямо с подносов, пробуя то одно, то другое. Все было таким острым, что во рту у меня горело, и вскоре меня прошиб пот, а затем потек-

---

[18] Примечания: 18

Китайские манты с различными начинками: мясом, рисом, грибами, овощами и морепродуктами.

[19] Примечания: 19

В России это блюдо известно под оригинальным названием фунчоза — вермишель с овощными приправами.

[20] Примечания: 20

Лапша со свиным или рыбным фаршем, перцем, чесноком, арахисом и особым соусом. Популярное блюдо сычуаньской кухни.

ло из глаз и носа. Фиона сняла твидовое пальто, которое я по ее настоянию позаимствовала из дома, несмотря на жаркую погоду. Под пальто на ней было красное платье с кружевными рукавами и длинной юбкой. Когда шеф закончил готовить, он прильнул к окошку, рассматривая нас. Мы методично поглощали блюда, не сбавляя темпа. Манты были плотными. Жировая прослойка в свинине зажарилась до хрустящей корочки. Лапша дан-дан оказалась заправлена рыбным фаршем. Я отложила палочки, махнув рукой на этикет, и попросила вилку.

Фиона начала делать передышки между порциями и стала поглядывать на меня из-под прикрытых век, закатав рукава платья до локтей. Я так сосредоточилась на еде, что чуть не прослушала ее слова, обращенные ко мне.

Что? Я тут же проглотила все, что было у меня во рту, едва не подавившись.

Я знала, что она собиралась сделать. Так что я ее отослала подальше.

Что ты знала?

Она взяла последние манты руками и, съев их, рассказала мне.

Река

Гретель снова пришла к нему и принесла ломоть хлеба, такой горячий, что он обжег себе небо, и немного твердого сыра с крупинками соли. Она хотела научить его игре под названием «Тук-тук, волк», и вот как в нее играли. Они нашли лучшее дерево в роще. Он должен был встать лицом к нему и, стукнув два раза кулаком, подождать секунду, сказать «тук-тук, волк» и обернуться. Она стояла в десяти шагах от него. Цель игры, как она сказала, была в том, чтобы она добежала до него и коснулась, застывая на месте всякий раз, как он обернется.

Тук-тук?

Тук-тук, волк. Готов?

Думаю, да, сказал он.

Начали. Эта игра была «давдав», как она сказала, и он подумал, что это значит что-то хорошее, что-то, что нравится ей. Она носила защитные наушники с желтым ворсом, словно помпоны. Иногда она дергала плечами вверх-вниз, что выражало, как он догадался, крайнее недовольство. Было легче не думать о мертвеце, когда она была рядом.

Начали.

Он повернулся к дереву. Закрыл глаза, затаил дыхание. Он почувствовал, как время замедляется, ощутил лицом холодную кору. Он слышал, как шумит река, как медленно хрустят сосновые иголки под ногами Гретель и как птицы вспархивают с ветвей. Он подождал сколько мог — недолго — и проговорил нужные слова. Обернулся. Он чувствовал, как сердце бьется у него во рту.

Гретель застыла на одной ноге, в пяти шагах от него, и смотрела в пустоту, не моргая, держа одну руку над головой. Он смотрел на нее, но она не шевелилась. Тогда он снова повернулся к дереву.

Тук-тук, волк.

Она была еще ближе. Одна рука вытянута вперед, голова повернута влево, словно она заметила там что-то. Он проследил за ее взглядом — там не было ничего, кроме пожухлой зимней травы, — она же за это время сделала еще один шаг — совсем маленький — и подобралась ближе. Он повернулся к дереву, пробормотал слова, обернулся. Теперь на ее лице застыла усмешка, открыв желтые зубы, наушники пропали, обе руки были протянуты к нему. Он обернулся, и в следующий миг — он не успел договорить слова — ее рука схватила его за плечо. Неожиданно сильно, как он отметил. И она торжествующе

воскликнула.

Это хорошая игра, сказала она, когда он обернулся. И принялась отплясывать на месте, вскидывая коленки и выворачивая запястья. Это хорошая игра, хорошая игра, хорошая игра.

Да, сказал он. Хотя он не был так уж в этом уверен и, пожалуй, предпочел бы читать ей книжку или даже ходить за ней, пока она проверяет капканы. Эта игра пробуждала в нем какой-то панический страх, который ему совсем не нравился. Ему не нравилось стоять повернутым спиной к воде, как и ждать неотвратимого прикосновения руки. Более того, ему не нравилось думать, что он мог вообще не дождаться этого прикосновения. Он мог простоять так не один час, а потом повернуться и понять, что Гретель над ним просто подшутила и незаметно скрылась. Или — еще хуже — увидеть вместо нее кого-то другого, молча стоящего позади него, к примеру, мертвеца, пришедшего за ним.

Они сыграли еще пару раз. Он научился лучше определять движение на слух, быстро выговаривать слова и оборачиваться на последнем слоге, думая, что вот-вот поймает ее в движении, но всякий раз он заставал ее на месте, неподвижной.

Давай поменяемся? — сказал он после третьего

раза, но она только покачала головой. Он повернулся к дереву. Обождал пару секунд, произнес слова и обернулся к ней. Она стояла на одной ноге, опять косясь влево. Он тоже посмотрел туда. Там лежал на боку холодильник и мешки для мусора, чуть колышимые ветром, а дальше покачивались заросли крапивы. Он знал, так как обошел эти места, что крапива продолжалась несколько шагов, а дальше земля мягчала, переходя в речной берег. Ничего, кроме этого, он не видел.

На что ты смотришь?

Она не ответила.

Там что-то есть? Мы не обязаны играть, если ты что-то увидела.

Она даже не шелохнулась. Водяной вор. Хотя она ничего не сказала. Он снова повернулся к дереву, обождал пару секунд, выкрикнул — быстро — слова и резко крутанулся, в тот же миг ощутив руку на плече, повернувшую его обратно, отчего у него заплелись ноги, и он повалился, крича и судорожно защищаясь неизвестно от кого. Он услышал знакомый смех Гретель неподалеку, громкий и жесткий. Солнце светило ему прямо в глаза, и он видел только чей-то силуэт, склонившийся над ним темным пятном, протягивая ему

широкую руку.

Ты, сказала она, очевидно, Маркус.

Пять
Мертвец идет по лесу

Коттедж

Что у нас осталось от того давнего житья-бытья на реке — спинном мозге в хребтине страны? Что мы вынесли оттуда? Диковатая девочка и ее еще более дикая мать, жившие точно демоны или животные, где никто не мог достать их. Посмотри на нас теперь. Увядшие, поблекшие, изводящие друг друга или самих себя, слоняясь по коттеджу, который слишком мал для нас двоих. Временами ты напоминаешь мне Фиону. То, как она ела с таким отчаянным, звериным аппетитом; то, как история, которую она держала в секрете, выскользнула из нее, лишив рассудка, превратив ее в запуганную одиночку. То, как Маркус любил вас обеих великой любовью, которая не принесла ему ничего хорошего. Но я тебя люблю, говоришь ты мне в супермаркете, и я хочу сказать тебе то же, но не могу, еще не могу; я не могу тебе этого дать. И я хочу сказать тебе, что, по-моему, мы сами создали это. То, что проступало из тихих

холодных вод той зимой, что окутывало наши сны и оставляло следы когтистых лап в наших головах, чем бы оно ни было. Я хочу сказать тебе, что оно бы никогда не появилось, если бы мы сами его не выдумали.

Река

Эта женщина слегка напоминала Маркусу врача, которая обследовала его в детстве, не улыбаясь и почти не разговаривая. Она показывала ему рентгеновский снимок его внутренностей: переплетение темных и белых линий, жесткие спутанные нити среди пустот. Из-за этого он не доверял ей, из-за того, что она могла видеть все это. Эта женщина была меньше его, и ее лицо и руки покрывали родинки; волосы у нее были очень темными, а брови сходились на переносице, как у Гретель. Ее глаза были точно рентген — он чувствовал, как они пронзают его насквозь.

Лодка, на которой они жили, была пришвартована неподалеку от того места, где Маркус поставил палатку, за поворотом реки. Она была зелено-оранжевой, покрытой ржавчиной и мхом. Она была не такой, как у Чарли; без окон, только в крыше имелся люк, сквозь который проникал свет, неровно ложась на груду овечьих шкур и

клетчатых шерстяных одеял; на ведра с немытой посудой, газовую плитку, груды книг и глиняные плошки. На столешнице стояла миска, из которой женщина достала яйцо, очистила и дала ему. Он положил его в рот и не знал, куда деть глаза. Он опустил взгляд на ее ботинки, тяжелые и облепленные грязью.

Я собиралась приготовить поесть, сказала она, и он не мог понять, следует ли это считать приглашением. Гретель взяла его за руку и потянула за собой вверх по лестнице из лодки.

Это твоя мама? — спросил он ее тихо, чтобы женщина в лодке не услышала. Гретель стояла на цыпочках, поправляя рыбу, уже начавшую портиться, на одном из ветряных колокольчиков.

Это моя мама, сказала она громко. Ее зовут Сара. Она сказала, что хочет познакомиться с тобой. Она сказала, что ей очень интересно познакомиться с мальчиком с книгой.

Мальчиком с книгой?

С тобой. Так она называет тебя. Или мальчиком в палатке, или тихоней.

Тихоней?

Я сказала ей, что ты неразговорчивый, и она сказала, что ты, наверное, тихоня. Она говорит иногда что-то такое.

Они обошли все капканы и ветряные колокольчики, а когда они вернулись к лодке, Сара сидела на крыше, свесив ноги с края. В одной руке у нее была дымящаяся сковорода с подкопченным беконом, а в другой сигарета. Гретель подбежала к ней и обняла за шею.

Осторожней, Эль, сказала она. Хочешь тоже? — сказала она ему.

Чего?

Она махнула головой, так что сигарета у нее во рту качнулась. Сигарету. Хочешь сигарету?

Нет, спасибо.

Как тебе угодно.

Он не знал, куда девать свои руки и ноги. При каждом движении ему казалось, что он по-дурацки вихляется. На ней была тонкая белая футболка, из-под которой просвечивал купальник, шелковая юбка, подвернутая вокруг бедер, и она легко покачивала сковородку и курила. У нее был очень широкий рот и тяжелая нижняя губа. Он не думал, что она была старше его родителей, но, с другой стороны, он не знал никого старше них, кроме Фионы. Не впервые он пожалел о своей несуразности, о том, что никогда не был уверен, как себя держать и что сказать. Она медленно курила, то вынимая сигарету изо рта, то выдыхая

дым через зубы. Докурив, она взяла кусок бекона с горячей сковороды и стала есть его. Он видел жир на ее пальцах и — когда она вытерла их — на коленях, темных, точно речная вода.

На.

Он взял кусок бекона со сковороды. Гретель взяла два и убежала, словно боясь, что у нее отнимут их. Он смотрел, как она мелькает между деревьями. Когда она скрылась, он очень отчетливо ощутил окружающее пространство в геометрических формах: квадрат между ним и Сарой, треугольник ее ног, свисавших на влажной стороне лодки, пустой воздух в его раскрытых руках.

Расскажи мне о себе, сказала она. Маркус, верно? У тебя есть лебединая песня?

Что?

Что бы ты сказал о себе, если бы должен был умереть прямо сейчас?

Он ощутил, как на него навалилась огромная, паническая немота. Он был уверен, что она видит на его лице все, что с ним случилось: почему он ушел из дома; что он видел и слышал на реке; что случилось с Чарли; почему он ни за что не мог вернуться.

Я просто брожу по свету, сказал он, наконец,

запинаясь. Он почувствовал себя так, словно она проникла ему в грудь и все там перебуровила. Он еще никогда такого не чувствовал и не понимал, что это значит. Она была очень похожа на Гретель: один ее глаз был чуть шире другого, и зрачки отливали сталью.

Бредешь куда? Бредешь к чему?

Просто. Просто бреду.

Просто бредешь? Звучит неплохо. Просто бредешь без всякой цели? Это прямо давдав.

Да, сказал он. Ему было слегка не по себе оттого, как она повторяла его слова, возвращала их ему с вопросительной интонацией в конце. Возможно.

Я думаю, мы скоро оставим это место, сказала она. Она повернулась всем телом к реке. И взглянула вниз по течению. Посмотрим, что нам удастся найти. Она словно бы, подумал он, говорила не вполне с ним. Он почувствовал себя так, словно бы слышал что-то такое, чего не должен был слышать.

Мне иногда бывает невтерпеж, понимаешь? Она выгнулась назад, чтобы рассмотреть его. Он почувствовал ее размашистый взгляд, проникавший ему под кожу, все глубже и глубже.

Да, сказал он. Хотя не понимал.

Мы здесь с тех пор, как родилась Гретель.

Так долго на одном месте. Иногда мне просто хочется… Она не закончила предложение, но подняла руки над головой и толкнулась ими вверх, словно прорываясь сквозь невидимую преграду.

Они сидели за маленьким столом и ели. Гретель без умолку болтала и роняла капли супа, приготовленного Сарой, себе на одежду. Он был так голоден, что глотал горячие ложки, обжигая себе небо.

Добавки?

Да, пожалуйста.

Сара снова наполнила его котелок. Сама она немного поела и снова закурила. При своих небольших размерах она, как и Гретель, занимала на удивление много пространства. Она сидела на скамье рядом с ней, задрав одну босую ногу, положив локоть на стол и откинувшись назад. Он поел еще и почувствовал, как его живот судорожно вбирает в себя нежданную пищу, так много, сколько он не ел с тех пор, как умер Чарли.

Мы читаем энциклопедию, правда? — сказала Гретель.

Да, сказала Сара.

Сегодня утром мы читали о Минотавре. Ты знаешь, что это такое, Маркус? Это существо с человеческим телом и головой быка, и он живет

в лабиринте. Что навело меня на мысли о панoптикуме. Ты знаешь, что это такое?

Ты поперхнешься, если будешь так тараторить, Гензель, сказала Сара. И я не стану выполнять прием Геймлиха[21] на тебе.

В общем, это идеальная тюрьма, потому что в ней только один надзиратель, но люди, которых туда посадили, не могут понять, надзирают за ними или нет, поэтому они всегда ведут себя так, будто за ними все время надзирают, даже если никто этого не делает. Мама сказала, это основывается на самопроизвольной паранойе. Я про это не знаю, но вообще это заставило меня подумать о Бонаке.

Он положил ложку обратно в котелок. Подняв взгляд, он увидел, что Сара опять смотрит на него. Ему хотелось не нервничать так сильно всякий раз, как он ловил на себе ее взгляд. Язык с трудом помещался у него во рту, и он чувствовал, как щелкает у него в горле на выдохе.

Ты слышал об этом? — спросила Сара. Ты знаешь о Бонаке?

---

[21] Примечания: 21

Прием оказания первой медицинской помощи, применяемый при попадании посторонних предметов в верхние дыхательные пути. Получил название в честь доктора Генри Геймлиха, впервые описавшего его в 1974 г.

Я не знаю, сказал он.

Ты ведь пришел вниз по течению, верно? С севера. До нас доходили оттуда слухи о нем много недель.

Что за слухи?

Гретель похлопала его по руке, но он ничего не сказал.

Скорее всего, ерунда, сказала Сара. И сложила пустые котелки один в другой. Люди на реке всегда были суеверными. У воды есть свойство делать мутным все, что было ясным. Ты думаешь, я там ничего такого не видела? Когда наползает туман или в такую жару, что воздух идет волнами, я думаю, что видела вещи, оставшиеся в прошлом, которых я уже не думала увидеть. Я видела худого человека, идущего между деревьев, или животное с женским лицом, или кое-что похуже. Здешние люди могут убедить себя в чем угодно. Речные люди не такие, как другие. Здесь полиции не увидишь. Здесь не увидишь органов опеки или священников. Речные люди не пользуются зеркалами; им не нравится подолгу находиться на земле. Так что. Это, наверное, ерунда.

Она впервые при нем столько говорила, и он слегка остолбенел и не знал, что сказать.

Но мы глядим в оба, сказала Гретель. Правда

ведь?

Да. В оба.

Полночь, он лежит в своей палатке и чувствует, как оно накатывает на него, смыкается над ним. Он вывертывается из спального мешка и сидит во тьме, такой плотной, что трудно дышать. Слезы душат его, и он зажимает рот рукой, скоро рукав намокает, он тянет складчатую пленку, сжимающую ему грудь, проводит рукой по щетине, проступающей на подбородке. На миг он прислушался, не идет ли по лесу мертвец. Тишина.

Охота

Вечером после моего обеда с Фионой я получила электронное письмо. В теме было пусто, и ты не указала ни моего имени, ни своего. И все равно я знала, что это письмо от тебя. Ты как будто протянула обе руки сквозь экран и схватила меня за горло.

Я на реке. Я нашла его.

Ты была с Маркусом. Должно быть, так. Я думала сказать Роджеру и Лоре, взять из всех с собой. Но что, если ты ошибалась? Что, если ты сошла с ума? Что, если ты вовсе не находила его?

Я позаимствовала палатку и спальный мешок. Я хотела оставить Ивету дома, но она принялась скулить и рычать и в итоге увязалась за мной.

Останься, останься, словно просила она, пытаясь укусить меня.

Перед тем как выйти из дома, я стояла с Роджером и Лорой на кухне и спрашивала, что они теперь будут делать. Погода была жаркая. Дверь в сарай Фионы была открыта, и оттуда доносилась ритмичная музыка, электронная и быстрая. Роджер положил младенца на стол, и тот стал пытаться подкатиться к краю, изворачиваясь всем телом. Мне казалось невозможным, чтобы они оставались здесь дальше. После такой перемены. Их лица и движения переменились. Я вернула для них — сама того не желая — Марго к жизни, реанимировала ее. Долгое время они не видели ничего, кроме двери, закрывшейся за ней, но теперь они знали, куда она ушла, и могли представить ее там. Лора пожала плечами и вышла в сад.

Она на меня сердится, сказал Роджер.

За что?

Она думает, я сдался.

Я застегнула молнию на сумке, которую они мне дали. Машину я оставляла у них. У меня

было то, чего не было у Марго, покидавшей дом в темноте и страхе: карта и достаточно еды, чтобы хватило на дорогу туда и обратно.

А это правда?

Он раскинул руки, как бы обнимая этот домик, детей, устроивших кучу-малу во дворе, Лору, кричавшую им быть осторожней, и младенца, изо всех сил пытавшегося перевернуть свое неподъемное тело, а также раковину, полную немытых тарелок с прошлого вечера. А что плохого в такой сдаче?

Я стояла, глядя на него, и думала, что, может быть, он прав. Может быть, будет совсем не плохо, если после всех этих лет я не найду тебя. Он слегка улыбнулся и открыл кран над грудой посуды.

Можно задать вам вопрос? — спросила я.

Это зависит от вопроса.

Мы боялись чего-то в ту зиму. Моя мать и я. И Марго тоже. Мы думали, что это нечто ворует детей и что оно добралось и до нас. Мы называли его Бонак.

Бонак?

Мы придумали это слово, когда я была маленькой. Мы придумывали много разных слов, но это запомнилось мне лучше всего. Оно обозначало много всякого в разное время, но всегда что-то

такое, чего мы боялись.

Уверен, список был приличный, если вы жили на лодке, на реке.

Да.

Я был запуганным ребенком, сказал он. Не то что они. Они ничего не боятся.

А чего вы боялись?

Он снова раскинул руки. Чего я только не боялся. Темноты под кроватью и в шкафу, машин, рыбных костей, того, что качели перевернутся на детской площадке. В какой-то момент, как я теперь вспоминаю, они сделались средоточием всего, о чем меня предупреждали родители.

Вы сами вызывали свои страхи? Вы создали монстра.

В каком-то смысле.

Об этом, сказала я, я и хотела спросить вас. Чем больше я вспоминаю, тем больше это одни обрывки, фрагменты чего-то такого, что, как я знаю, имело для нас большую важность в то время. Мы верили во всякое такое.

Он повернулся ко мне. Вы хотите, чтобы я сказал вам, могли ли вы сами создать этого Бонака, которого видели той зимой? Вы, и ваша мать, и Марго.

Да. Думаете, мы могли это сделать? Вызвать его

к жизни своими мыслями?

Я не знаю, имеет ли это значение, сказал он. И я увидела, как изменилось его лицо при мыслях о Марго. Я тоже подумала о ней: о ее коротко стриженных волосах, о тревожном лице, повернутом к нам, в преддверии конца того года.

Вайолет принялась реветь в дверях, не плакать, а именно выть. Я подумала, останутся ли у нее странные, искаженные воспоминания обо мне, когда она вырастет. О женщине, которая пришла к ним однажды летом и осталась на неделю, а потом ушла. Я удалялась от их дома, и передо мной бежала Ивета, повизгивая и вынюхивая что-то своим несуразным носом. Я чувствовала себя так же. Мне было хорошо оттого, что я осталась одна на один с ней. Даже если мы направлялись обратно к реке. Дойдя до канала, я поняла, что не попрощалась с Фионой. Может, это и к лучшему. Я подумала о вилке, нагруженной едой, движущейся к ее рту, о скатерти, расползавшейся под ее руками, о том, как шевелились ее губы. Я подумала о том, что она мне рассказала.

В то лето, когда мальчик, который станет Фионой, увидел, как кастрируют быков, он начал примерять платья сестер. Проскальзывая в дом,

пока все были в школе или на работе. Он надевал их платья и рассматривал себя в зеркале гардероба, и всовывал свои ноги в их слишком маленькие туфли. Долгие часы он проводил, облачаясь в красные кружева, синюю замшу, шелк и кожу. Много ли они замечали? Его тревожные родители, скидывавшие свои ботинки у порога, жевавшие на ходу бутерброды, спеша на работу. Например, что он украл бритву у матери и сбрил на теле ненавистные волосы. Что ему снилась кастрация, прохладные стены сарая, дверь, со скрипом закрывающаяся за беглецами, бычьи яйца, лопающиеся, точно персики.

Были годы, когда он жил в мужском обличье. Они тянулись слишком долго, чтобы можно было сосчитать их. Но они не стоили того, чтобы заострять на них внимание. Он не говорил своим родителям, что он задумал. Он ушел от них и знал, что назад дороги нет. Но иногда он еще видел себя лежащим на своей старой, узкой кровати или бегущим через поле на вершине холма, чтобы спасти отбившегося теленка. Перебравшись в город, он взял себе новое имя и другое лицо.

Примерно через пять лет после того, как Фиона стала женщиной, она написала письмо родителям, однако без подписи. Она написала: *«Люди,*

проходящие мимо меня на улице, не думают, что я мужчина. Вчера в булочной кто-то назвал меня мадам. Может, вы поняли это еще раньше меня, просто не находили слов, чтобы выразить»? Ее родители так и не ответили на это письмо, и она их не винила. Они были не из тех людей, которые стали бы тратить время, отвечая на письмо незнакомки. А она уже не была тем мальчиком, который беспокойно сидел за их столом, чьи ноги едва касались пола, а руки возвышались над столом на пару дюймов. Больше она ничего им не отправляла, хотя иногда что-то писала, словно собираясь когда-нибудь отправить. Она писала: *«Я работаю в супермаркете. Мне это не нравится, но нужно чем-то зарабатывать на жизнь. Я* еще не знаю, как разговаривать с людьми, так что в основном держусь одна. Я не думаю о вас, или о ферме, или еще о ком-нибудь. Прошло почти десятилетие с того момента, как мы виделись последний раз, и ничто уже из того, что вы помните обо мне, не существует».

И еще кое-что. Перемены, происходившие с ней, помимо того, что она сделалась женщиной. Сущие мелочи поначалу: она ловила чашки, падавшие со стола, удачно выходила с зонтиком даже при ясной погоде. Затем перемены стали

существенней. Она избегала определенных улиц или магазинов, меняла маршруты во время прогулок, не надевала юбку, молния на которой — она это знала, хотя не знала, почему — должна была разойтись в тот день. Это не было, как она поняла, осмотрительностью, но скорее неким знанием. Как будто у нее в мозгу имелись полости, словно морские пещеры, периодически наполнявшиеся знанием, которого раньше там не было.

Она заметила фотографию домика в витрине агентства по недвижимости, и он ей понравился, так что она зашла спросить о стоимости и прониклась уверенностью, что приобретет его. Она устала переезжать каждый месяц из города в город, ездить в поездах, оглядываясь. Дом принесет ей устойчивость. Она выкрасит лестницу желтым, а ванную зеленым. У нее не было мебели, но она видела себя там, открывающей неподатливые окна, пьющей вино из бокала на крыльце, выходящем в сад.

Примерно через неделю после того, как она вселилась в этот дом, к ней заглянул мужчина с банановым хлебом, он сказал, что живет по соседству и чтобы она обращалась, если ей что-то понадобится. В его облике — округлом лице в очках и дырявом джемпере — было что-то совиное.

Она сделала им сэндвичи. Он пригласил ее на обед, и она ощутила какое-то неясное томление. Это было знакомое предчувствие некоего знания, сгущавшегося у нее в голове. Она внимательно рассматривала его, пока он ел сэндвич, а потом — без спроса — ополаскивал тарелку в ее раковине. Что это было? Что она увидела за его лицом? Он рассказал ей о Лоре, женщине, которую любил, и об их дочери по имени Марго, которая, как он сказал, обожает ее.

Обожает меня? Но мы с ней не встречались.

Он вывел ее в сад и показал на окно своего дома, за которым промелькнуло чье-то лицо.

Боюсь, она наблюдает за вами. Она собиралась сама отнести вам хлеб, но испугалась.

Фиона увидела у него на пути провалы, в которые ему предстояло упасть. Она еще не знала, чем именно это будет, но знала, что они поджидают его. Она сказала ему, что с удовольствием придет к ним на обед.

Их радушие вселило в нее покой. Она стала часто приходить к ним обедать и читала за столом книги Марго. Она все больше забывала то ощущение, испытанное в первый день знакомства с Роджером, ставшее, по сути, причиной их дальнейшего сближения. Она готовила кошмарные

сумасбродные блюда на их маленькой кухне, позволяла Марго высаживать кабачки в своем саду. Они вместе отмечали дни рождения с легкостью, удивлявшей ее. Ведь они не были ее семьей; они не были одной крови. Марго рисовала отдельные черточки, а Фиона прорисовывала по ним разные образы, увлеченно водя своими большими руками, изогнув в улыбке губы.

Потом настал плохой год. Они случались и раньше, а она еще не развила в себе способность к их предвидению, возникая на пространстве десятилетий, точно язвы. Она размечала в своем ежедневнике дни обедов у Лоры и Роджера и обнаруживала, что пропускала их незаметно для себя, просыпаясь и понимая, что пролетела неделя, а она не знала, что делала все эти дни. Она вдруг обнаруживала себя в ванных комнатах неизвестных кафе, в автобусах, шедших непонятно куда, в комнатах, в которых никогда не была раньше. Время искажалось, разрыхлялось, размягчалось, точно глина.

Она подрабатывала тем, что гадала по картам Таро в подсобных помещениях магазинов и давала предсказания побед на скачках, хотя она ошибалась — как и всякий человек — так же часто, как и угадывала. Она лазила по чужим кар-

манам, ограбила пару домов, провела несколько ночей в тюрьме. Просрочила арендную плату за дом и не вернулась туда. Она спала под мостами, в подъездах и автобусах. Спала на вокзалах, предсказывала задержки и отмены рейсов за несколько недель, смотрела день за днем, как приходили поезда в одно и то же время и узнавала в толпах пассажиров одних и тех же людей.

Дальше стало хуже. Ее дни не шли друг за другом, но забегали вперед или отклонялись назад. К ней пришло осознание того, что все, что она предсказывала, не могло избежать своей участи. Чашки, которые она подхватывала на лету, так или иначе разбивались через несколько часов у нее в руках; зонтики, которые она брала перед тем, как хлынет ливень, все равно ломались, и она вымокала до нитки. Она навела справки обо всех, кого о чем-либо предупреждала в течение нескольких лет — о тех, кого она предостерегала от перехода улицы на светофор, или кому говорила не садиться на самолет, и о женщине, которой она предсказала раковую опухоль живота. Поначалу совпадения казались незначительными, но вскоре картина стала очевидной. Та женщина, пережившая ремиссию рака, позже испытала обострение в полную силу. Множество человек,

которых она предупреждала о грядущей автомобильной аварии, так или иначе попадали в аварии — не сейчас, так потом. Понимание этого чуть не свело Фиону с ума, и она провела шесть месяцев в психиатрическом диспансере, пройдя через несколько отделений и социальных общежитий. Она никогда не была той, кем считала себя. Она ни разу не сумела изменить что-либо, а только знала о том, что должно случиться. И это было самое страшное из всего, что она могла вообразить.

К тому времени, как она снова возникла на пороге дома Роджера и Лоры, она приняла решение оставаться слепой ко всему, кроме настоящего. Они не спрашивали ее, где она была весь этот год или почему ничего не написала им, и она была признательна им за это.

Восемь лет спустя после знакомства с Марго Фиона проснулась с сильнейшей головной болью, какой не испытывала уже лет десять. Она даже недоумевала, почему это называется головной болью, если помимо головы болят десны, спина и колени. Она наполнила раковину водой и погрузила в нее лицо, но ей не полегчало. Она уже много лет не переживала никаких предчувствий, но с этой головной болью к ней неожиданно

пришло новое, нежеланное знание. Весь дом принялся гундосить ей о том, что должно было случиться. Она видела, как потолочные балки проседают, и чердак падает сквозь потолок, поглощая остальные комнаты, река выходит из берегов и заливает ее сад. Она не знала, когда это случится, но знала, что случится. Настанет день, и этот дом будет стерт с лица земли.

Собираясь ложиться в постель, она вспомнила, что был этот за день. День рождения Роджера. Тогда она снова оделась, накачалась сильнейшими болеутоляющими, какие были у нее в аптечке, выпила водки на кухне, чтобы успокоиться. Она надела туфли на самых высоких шпильках и пошла помогать Роджеру и Лоре украшать их жилище. Поставила печься пирог, хотя знала, что тесто не поднимется. Танцевала, несмотря на головокружение, накатывавшее волнами, и покалывание в руках. Она ожидала прихода нового знания, стремившегося к ней, каким бы оно ни было, отсекавшего различные возможности, пока не осталась единственная несомненная уверенность.

Когда она узнала это, она поняла, что просто знает это. Марго отрезала кусок торта. Роджер и Лора, пьяные, медленно танцевали в обнимку

одним им известный танец. Глаза Фионы вытянулись в глубь головы, точно резиновые. Она так хотела бы ничего не знать, ничего, что выходило бы за пределы того, что она могла увидеть, услышать и ощутить на ощупь. Она обхватила голову руками и изо всех сил пожелала, чтобы это знание ушло, но оно никуда не делось, несомненное, как железо, неизменное, как сезоны, несгибаемое, как камень. И не важно, что она знала о невозможности что-либо изменить. Возможно, думала она, наклоняясь вперед на стуле, она была неправа. Возможно, на этот раз все окажется по-другому. Она должна попытаться.

Когда Роджер с Лорой ушли спать, Фиона вошла на кухню и увидела Марго, домывающей посуду. Ее лицо отражалось в окне, удвоенное и размытое.

Прошу прощения, сказала она, и Марго подняла взгляд на нее. Она уже выглядела испуганной, подумала Фиона. Я не хочу говорить тебе этого, но я так ясно это знаю; так же, как человек знает название места, где он родился, или девичью фамилию своей матери.

Марго ничего не сказала на это. Фиона стояла и смотрела на нее. Она хотела взять свои слова назад. Она хотела, чтобы этого не было, чтобы ее

вдруг поразил апоплексический удар, который изъял бы всю влагу из ее мозга, сделав его сухим, как пустыня. Она бы предпочла не знать вообще ничего, нежели знать такое. Она взяла Марго за плечи и сказала ей то, что узнала о ее будущем. В раковине позади Марго была кастрюля, полная бурой мыльной воды. На миг Фиону охватило побуждение схватить Марго за голову и опустить ее в эту кастрюлю. Утопив вместе с ней грядущий ужас.

Я тебе не верю, сказала Марго, но это были не ее слова. Она всегда верила в то, что Фиона могла предсказывать будущее. Я не сделаю этого, сказала Марго, раз я теперь знаю об этом. Теперь, когда ты мне это сказала, я смогу это предотвратить.

Тебе нужно сейчас же уйти. Я буду ждать, пока ты не уйдешь, сказала Фиона.

Она помогла Марго собрать сумку с одеждой, едой, которую она нашла в буфетах и холодильнике, бутылку воды из-под крана. Марго сидела внизу лестницы, и Фиона присела перед ней и завязала ей шнурки. Марго хотела было оставить какую-нибудь записку, хоть как-то попрощаться. Но Фиона встала в дверях как стена, и Марго пошла из дома в ночь.

После этого в жизни Фионы снова потянулись

такие однообразные годы, что она могла с трудом выхватить из них отдельные метки: красную бирку на ключах от комнаты в доме, где она жила; сломанный каблук от туфли, которую она сняла и оставила где-то; билеты на поезд, купленные когда-то непонятно зачем. Какое-то время она прочесывала прибрежные трущобы, где ютились бродяги, надеясь найти среди них Марго. Не чтобы забрать ее назад — ни в коем случае, — просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке, что Фиона поступила правильно, убедив ее уйти. Только она так и не нашла ее, даже ни разу не напала на след, не почуяла ни намека на узнавание. Как будто, сделав то, что она сделала, Фиона захлопнула дверь, которую уже не могла открыть. Она бродила дни напролет, словно в бреду, даже не помня, где именно. И в конце концов вернулась в свой «Тупик»[22], где жили Роджер и Лора, поскольку это было единственное место, где ей нравилось быть, спрятавшись за занавесками на этих окнах.

---

[22] Примечания: 22

«Тупи́к» (*фр*. Cul-de-sac) — фильм 1966 г. режиссера Романа Поланского, выдержанный в духе театра абсурда Сэмюэля Беккета.

Река

На рассвете Маркус вылез из палатки и стоял, моргая, с пересохшим ртом. Течение реки чуть замедлилось; деревья по берегам стояли на земле, не на воде. Земля была схвачена льдом. Пальцы у него посинели от холода. Он собрался с силами и принялся собирать хворост для костра. Вернувшись с хворостом к палатке, он понял, что у него нет ни спичек, ни бумаги и что он вообще не представлял, как разжигать костер. Он залез в палатку, натянул на себя все свои свитера и залез в спальный мешок. Он представил, как Сара вскидывает руки над головой, пробивая невидимый барьер. Он улегся на спину, натянул на голову мешок и стал думать, как поздно ночью Сара уронила котелок и прокричала: гарпилябия! Очень громко. Он не думал, что такое слово существовало в реальности, но она каким-то образом делала его реальным. Он не встречал никого, похожего на нее. Он чувствовал, что между ними, возможно, существовала какая-то связь, которой он не понимал. Он хотел бы никогда не видеть ее; он хотел видеть ее каждый день отпущенной ему жизни. Думая об этом, он осознал, что испытал похожее чувство, когда увидел водяного вора: страх

и одновременно желание увидеть его снова.

Он поднялся. Он пойдет к лодке и попросит ее показать ему, как развести огонь. Она скажет: конечно. Или: оставайся тут, у нас есть огонь. Он видел, как шевелятся ее губы, выговаривая эти слова, и рукава ее футболки на смуглой коже, и чувствовал ее соленый запах.

Заморосило. Ветряные колокольчики Гретель, утяжеленные тельцами зверушек, были все время повернуты к кустам. Лодка скрывалась за прибрежными зарослями. Он стал обходить их, засунув мерзнущие руки в карманы. Он услышал, как кто-то из них напевает, без слов, один мотив. Выйдя из-за зарослей и увидев лодку, он остановился.

Сара прикрепила шланг к баку с водой и держала его конец над собой. Ее голые ноги стояли в грязи, а под мышками темнели густые пучки волос. Вода хлестала на ее запрокинутое лицо, затекала в открытый рот. Ее кожа отливала лиловым от холода. Позади нее стоял лодочный мотор.

Ему уже случалось видеть голых людей. Когда он заставал в душе Лору — складки на ее розовом животе, бледная кожа на внутренней стороне рук. Или Роджера — ноги с синими венами, то-

щая задница. Или Фиону за приоткрытой дверью — линия бедра за расстегнутой молнией юбки, выпуклость размером с мандарин в ее белых трусах.

Но это было другое. Он уже не мог не смотреть на нее. Как качались ее груди — левая чуть больше правой, когда она терла волосы обеими руками. Как сокращались мышцы на ее маленьких руках и крепких икрах ног. Как угадывалась кость — он подумал о рентгеновском снимке — под краем бедра; шрам на колене. И, конечно, там. Там у нее тоже кустились темные волосы, в ложбинке между бедер. Его взгляд немедленно пристал к этому месту, так что он не мог сказать — когда он пришел в себя и поднял глаза, — как долго она смотрела на него.

Когда он снова проснулся в тот день, он увидел над собой лицо Гретель, почти нос к носу, и почувствовал ее ладони, обхватывавшие его лицо. Он задержал дыхание. Она пристально смотрела на него широко открытыми глазами.

Я победила, сказала она, когда он моргнул, и рассмеялась сквозь зубы. Сара говорит, ей нужна твоя помощь.

Выйдя с Гретель из кабины лодки, он увидел на берегу рослую женщину с копной волос и

изящными руками, которая курила самокрутку и сплевывала табак. Женщина была торговкой мясом и рядом с Сарой казалась медведицей. Они обе посмотрели на него, и торговка сказала что-то Саре, а та негромко ответила: все верно. Торговка присела и потушила самокрутку.

Он ожидал, что Сара скажет что-то о том, как он смотрел на нее под душем, но она только сказала: идем, поможешь нам. И указала на маленький буксир торговки мясом. Он пошел за ней. Она легко касалась его то за руку, то за плечо и говорила ему что-то, во что он не вникал и слабо понимал. Она подняла свои волосы к затылку, отчего они стали похожи на тугой канат. Он отмечал каждое место, где она коснулась его: тут и тут, и тут. Она цыкала на него, прищелкивала языком. На шее у нее был шрам, поперек артерии, как будто ее пытались удавить струной. И это еще больше убедило его в ее неуязвимости, выходившей за пределы мира, в котором он жил.

Они вошли в кабину лодки. Туши лоснились белесым жиром, их ноги были шириной с его грудную клетку. Он не мог сказать, чьи туши это были: свиные, говяжьи или овечьи. В мясной лодке было холодно, как в погребе. Куски туш свисали с крюков вдоль стены. Сара взялась за

один и сняла его, а затем качнула к нему, чтобы он подхватил его. Когда он взвалил мясо себе на плечо, колени его согнулись и задрожали, и он увидел свое дыхание, вырывавшееся серыми клубами. Это мясо было самым тяжелым, что он поднимал за всю свою жизнь. Когда он забирался по ребристой металлической лестнице, его хромая нога подвернулась, и мясо уперлось ему в щеку, а Сара стала цыкать на него. Он вспомнил, как втаскивал по ступенькам мертвое тело в той, другой лодке и как тяжело ему было. Он перевел дыхание. И почувствовал, как дрожат его руки.

Вставай, сказала она повелительно, вставай-вставай. И он вернул себе равновесие и поднялся на ноги. Ну же. Пошел.

Ему хотелось сказать ей, что он не собирался глазеть на нее, на ее растительность и болтавшиеся груди, что он жалеет об этом. Гретель пританцовывала по тропе, дергая руками крапиву, как будто та не жалила ее, скидывала с ног ботинки, опускалась руками в грязь и закидывала ноги выше головы. На земле была расстелена синяя парусина, на которую они опустили мясо. Маркус начал различать его анатомию. Торчавшие в стороны ноги, ровно срезанный выступ шеи. Рядом лежала холщовая сумка соли. Сара

показала ему, как втирать соль в мясо.

Не так, сказала она. И придавила своей ладонью его ладонь, вдавливая в мясо. Сильнее, вот так. Кожа ее была жесткой, большие пальцы, точно лямки кожаного ремня. Они солили мясо до тех пор, пока соль не забилась ему под все ногти; он чувствовал себя так, словно это его засаливали, что это его кожу они дубили, чтобы вода не проникала сквозь нее. Он мельком подумал о том, как это — дышать под водой. Это, наверное, не так уж плохо. Никто тогда уже не увидит его. Он будет жить под водой. Только ведь — он вдруг вспомнил об этом — там был мертвец.

Она снова взяла его за руку. Сильнее, втирай сильнее. Он испытывал неимоверное смущение оттого, что теперь так четко представлял себе, что и где у нее находится. Он попробовал думать о других, более отвлеченных предметах: об умножении, о границах между странами. Она убрала свою руку, и он почувствовал под пальцами срезанный край туши.

Мясо тощее, не как прежнее, сказала она торговке, которая сворачивала им самокрутки. А Гретель тянула ее за рукав.

Я возражаю. Торговка не подняла взгляда от своих рук. Мясо с той же фермы, рядом с топлив-

ной станцией. Хозяева их кормят прямо со своих тарелок. Словно малых деток.

В середине мясо тощее, сказала Сара. Оно старое. Я носом чую. Сбавляй цену.

Он знал, что Сара добьется своего. Торговка прищурилась и расставила ноги шире, но Сара оставалась непоколебима как скала. Он подумал, что она наверняка всегда чего-то требовала и не успокаивалась до тех пор, пока не получала этого. Он задумался, чего она потребует от него — и у него свело живот. Может, ему лучше скрыться, пока до этого не дошло? Но он сомневался, что сможет куда-то скрыться от нее. Он ведь был надежно загарпунен.

Ну хорошо, сказала торговка и вскинула руки.

Он увидел, как они пожимают руки, и присел с краю берега. Сара попросила Гретель принести им чаю, и та подчинилась, ворча и хмурясь. Он почти не говорил. Что он мог сказать? Когда Сара спросила торговку, как идут дела, та стала рассказывать о приливных частях реки, где ходили корабли, огромные как дом, и где смещения течений крушили не меньше круизных лайнеров, чем в море; рассказала, как грибок съел носовую часть ее лодки, и ей пришлось месяц кантоваться у сестры в гостиной, пока не починили лодку, и

общаться с ее мужем, сквернословом.

Маркус то и дело поглядывал на них и замечал, что Сара смотрит на него сквозь извивы сигаретного дыма. Он почувствовал, как под одеждой у него пищевая пленка сдвинулась с места.

На той неделе тоже случилась напасть, сказала торговка, вставая и потягиваясь.

На крыше кабины Гретель сделала рискованную стойку на руках, закачалась и упала через голову.

А что такое? — спросила Сара.

В прошлый понедельник. Я даже ничего не слышала, а утром вижу, навесной замок сорван. Не знаю, чьих это рук дело, но они вытащили одну из телок — я их иногда покупаю на речной ферме — больше нас с тобой вместе взятых, порубили ее на тропе и забрали себе несколько кусков.

Порубили?

Ага. И птиц нескольких забрали. Пару кур. Тот старик — как его, забыла — ему вечно одних перепелов подавай, так что я всегда держу не меньше дюжины. Почти половина пропала.

А ты на кого думаешь — подростки?

Может. Зла на них не хватает. Не слышу их на лодке. Я сплю вполглаза, иногда всю ночь не сплю. Думаю, услышала бы, будь это детишки.

Обычно я слышу, когда они ищут, где бы пристроиться с бухлом.

Маркус пришел из твоих краев. Тоже слышал всякое. Слышал ведь? — спросила Сара.

Да. Он сглотнул, стараясь не смотреть ни на одну из них, и в итоге поднял глаза в небо, задрав голову.

А что ты слышал? — спросила торговка.

Он никак не мог собраться с мыслями. Я не знаю. Кто-то из рыбаков говорил, что по ночам пропадают вещи, и я подумал… подумал…

Он уже был готов рассказать, что он видел в роще в тот день — на краю откоса, в лучах солнца, но при взгляде на лицо Сары подумал, что после их вчерашнего разговора она решит, что он того: тронулся, видит глюки.

Так кто это тогда? — спросила Сара.

Торговка развела руками в недоумении. Понятия не имею. Она сбила грязь с каблука ботинка. Сомневаюсь, что они сюда пожалуют. Что им тут красть? Хочешь пару кроликов?

Ну давай.

Они смотрели, как она обходит баркас и забирается внутрь, отчего он немного просел под ее весом. Маркус сидел очень тихо.

Чую, будет дождь, сказала Сара, поднимаясь.

Руку дать?

Она была права; он отсидел себе ногу.

Ее протянутая рука была широкой и плоской, точно рыбий хвост.

Нельзя почуять дождь, сказала Гретель.

Можно. Он пахнет железом. Давай зажжем лампы.

Гретель научила его играть в «Скраббл». В печке шумел огонь, и в лодке было жарко, как в духовке, а вдоль стен горели свечи. Он думал, что она, возможно, жульничала. Слова были хитрыми и никак не складывались, только расползались, словно стайки рыб. Он бы предпочел собирать пазл, как дома, разложив кусочки по ковру. Иногда, поглядывая искоса на буквы, он думал, что мог бы сложить какое-нибудь слово, но у него по большей части получалось только что-то вроде *оно, жир* или *ус*.

Нетушки, сказала Гретель. Двухбуквенные слова не считаются.

Есть такое правило?

Датушки.

Пищевая пленка, стягивавшая ему грудь, была влажной и плотной. Ему хотелось снять ее, выбросить в реку. Но он не смел. Сара двигалась, то возникая в свете свечей, то растворяясь в темно-

те, — она убирала в чехол нож, которым резала кролика, подвесив тушку к потолку. Ночные бабочки, привлеченные светом, садились на стол, шевеля крыльями. Сара наклонилась над столом, передвинула его буквы — она была так близко, что он чувствовал ее прокуренное дыхание на своей шее.

Вернувшись в свою палатку, он нащупал в кармане что-то мягкое, пушистое. Он вынул это. В мышиных глазках, как в бусинках, отразилась река. Он поднял руку, думая выбросить мышь в траву. Но передумал. К нему пришла мысль. Он медленно нагнулся и положил ее у входа, свернутую калачиком, словно спящую. На случай, если она послужит ему чем-то вроде оберега. Чем-то вроде оберега от всего этого: от воды и деревьев, и человека, которого он убил, сам того не желая, и от девочки с капканами, и от женщины с ее быстрыми руками, в темные волосы которой он мечтал зарыться лицом.

Охота

Я уходила все дальше от дома и, перейдя мост, вышла по тропе на дорожку вдоль канала. Ивета семенила впереди, подбегала обратно ко мне,

проверяя, не заблудилась ли я, и снова убегала. Вода в канале была бурой и вязкой. Раньше в этой части города не было ничего, кроме складов и автостоянок, но потом ее выкупили, сровняли с землей прежние постройки и застроили новыми. На первом мосту я увидела тощих подростков, сигавших с перил в воду и выныривавших, отплевываясь и рыча. Они садились обсыхать на берегу, открывая банки «Стеллы»[23]. Солнце шпарило немилосердно.

Теперь, когда я вспомнила, что было той зимой, меня мутило при виде того, как камни шлепаются в грязь и подростки погружаются под воду, вытянув руки над головой. Вдруг с берега скатилась тележка с продуктами, и женщина, стоявшая с краю с младенцем на руках, стала вопить о своих покупках, медленно погружавшихся в воду. Мне померещилось что-то в плывущем полене, и я чуть не припустила бегом к дороге.

Я шла два часа. Лето было уже на исходе, но жара держалась как в июле. У меня всегда был страх того, что сезоны перестанут сменяться, что солнцеворот пройдет своим чередом, а год откажется двигаться дальше. На пришвартованных лодках

---

[23] Примечания: 23
Вероятно, имеется в виду пиво Stella Artois.

загорали старики на лежаках, потягивая красное вино. Где-то жарили мясо. В магазине у шлюза продавали домашнюю выпечку и мороженое; люди с детьми перевешивались через перила, глядя, как открываются и закрываются створки шлюза, пропуская лодки, качавшиеся на волнах. Пахло разлитым крюшоном и джином. Я снова подумала, шагая вдоль канала, о том, как все происходящее связано между собой; о том, как я могла — если хорошенько постараюсь — крикнуть в свое прошлое, чтобы юная Гретель, сидя на том берегу, услышала меня и подняла взгляд. Я слишком много времени провела с Фионой.

Мне было жарко, и я устала, но не хотела останавливаться там, где вокруг столько людей. Мы вышли за город и продолжали идти до темноты.

Ивета сидела и жевала траву, глядя, как я сражаюсь с палаткой. Это не раскладушка, сказала Лора не без гордости, причину которой я не совсем поняла. Что ж, она знала, что говорила.

Когда я, вспотев, подняла взгляд от палатки, я увидела тебя, стоящую в сумерках. Твое платье было закатано до колен, поцарапанных и испачканных травой. Ты была такой же, как в моем детстве. Наверное, каждый ребенок думал о своей маме, что для нее нет ничего невозмож-

ного. Ты сказала: *Озеро Байкал самое глубокое в мире. Оно содержит более 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды. Голубой кит — самое крупное из когда-либо живших животных. Одно сердце голубого кита весит 700 кг. Затмение — это полное или частичное затемнение одного небесного светила другим*. Ты сказала: *Поспи эту ночь на крыше, Гретель. Мне нужно кое-что обхекать. Нужно поговорить с Маркусом*. Ты приблизилась ко мне, но трава не шевелилась под твоими ногами. В твоих волосах угадывались остатки косы, которую я заплела когда-то, а лицо у тебя было таким, словно ты не спала несколько недель. Твой широкий рот открылся, так что на миг мне показалось, что я чую твое травянистое дыхание. *Он здесь*, сказала ты и протянула ко мне руку. Твои ногти были поломаны и воспалены. Я смотрела, как твой рот произносит слово (*Бонак*), но услышала только жуткий гвалт. Я зажала уши руками, закрыла глаза. Когда я снова их открыла, тебя больше не было.

Следующим утром, когда я проснулась и сложила палатку, медленный плеск воды, накатывавшей на берег и лизавшей деревья, вызвал у меня тошноту. Земля подо мной качнулась. Ивета гонялась за утками, пока я сидела на корточках,

согнувшись. Мне вдруг отчаянно захотелось сигарету, просто потому, что ты бы непременно закурила. Я была ближе к тебе, чем когда бы то ни было. Это была твоя земля, твой мир. Ты больше нигде не была на своем месте. Я старалась не думать о твоем призраке, явившемся мне прошлым вечером, с кровоточивыми ногтями и немым ртом. Мысль о близости к тебе не приносила мне облегчения; меня мутило от одной только возможности найти тебя.

Я достала карту. Города торчали на зеленых просторах точно прыщи, река была уродливой синей полоской. Мы срезали путь от воды, прошли через коровье пастбище и перелезли через калитку на другой стороне. Вдалеке виднелась электростанция: угловатые кубы, провода, перекрещивавшиеся в вышине; шум воды сменился подземным гудением и вибрацией под ногами.

Мы потерялись. Аккуратные кукурузные поля и коровьи пастбища остались позади, нас окружали клочки грязной земли, заваленной металлоломом, горелыми кусками рифленого железа. Там же валялся перевернутый стул. Я вся пропотела и то и дело сплевывала. Я обгорела — неровные красные отметины покрывали мои плечи, переносицу и подъемы стоп. Через пустые

траншеи и железный хлам были перекинуты дощатые настилы, проседавшие под моим весом; Ивета им не доверяла, пятилась, издавая горловые звуки, так что мне пришлось взять ее на руки и перенести, ругаясь.

Неожиданно мы опять вышли к реке. Я не могла понять по карте, где мы. Там была дамба, вода в которой еле текла, а потом переливалась через край. Под водой была видна растительность, местами гниющая, местами растущая. Кое-где открывался песчаный берег, плавно спускавшийся к воде. Ивета бросилась в воду, вздымая пенистые брызги.

Нельзя. Плохая собака.

Я забыла о реке все, что только можно. Что где-то вода была такой недвижной, что казалась стоячей; что течение могло внезапно выходить из глубины, бурливое и быстрое. Мы шли куда глаза глядят. Я искала, где бы срезать путь, но тропа тянулась вблизи берега. Я остановилась, сплюнула опять. У меня во рту был вкус той зимы. Ивета то убегала вперед, то возвращалась, то снова убегала. Нам предстояло идти пешком еще два дня, но даже это казалось слишком близко, чтобы я могла не нервничать, и я спрашивала себя, что же я делаю. Зачем я вообще направляюсь туда?

Я убрала карту и пошла дальше. Переночевала в палатке, не застегивая выход от жары. Я беспокоилась, что река будет навевать мне водяные сны, но проспала до жаркого утра. Пошла дальше. Я уже была близко. Снова переночевала и проснулась рано. Воздух казался плотным, а из воды выступали корни деревьев. Впереди тропинка расходилась. Я ускорила шаги. Дойдя до развилки, повернула в сторону от реки. Сосны справа от меня стали редеть; раскинулась широкая поляна буйных трав, пересыпанная одуванчиками и пучками чертополоха и крапивы. Рой пчел вился в воздухе. У неровного берега в зарослях стояла лодка. Я достала карту и принялась вертеть ее и так и эдак. Сомнений не оставалось. Это было то самое место, где я жила до тринадцати лет.

Река

Дни сжимались и растягивались вместе. Прошли две недели. Его мысли вернулись к родителям. Он думал: я скучаю по вам, я люблю вас, я хочу, чтобы вы нашли меня, простите меня. Он думал о том дне, что провел на лодке Чарли после его смерти. Он вспомнил, что спрятал у него под одеждой, и это казалось слишком большим секретом для одного человека. Было так холодно, что

край его палатки покрылся изморозью, как и вода вдоль берега реки, и ветви деревьев. По утрам ему было так одиноко, что он ничего не видел.

Но после полудня время начинало течь быстрее, а вечера и вовсе пролетали незаметно. Сара показала ему, как находить дикий чеснок, глубоко в земле. Летом, сказала она, здесь бывали грибы и даже яблоки. Она показала ему, как замешивать тесто для хлеба и как фильтровать самогон до янтарного цвета.

Он стал лучше понимать слова, которые они использовали, хотя сам он не осмеливался говорить их. Сара называла Гретель Эль, а иногда Гензель или Винегретель. Гретель называла Сару Чувиха или Доктор. Если она говорила, что ей нужно что-то обхекать, это значило, что ей нужно побыть одной. Мелкие неприятности вроде уроненной тарелки или царапины были гарпилябиями, но это слово выкрикивалось и в отвлеченном смысле, когда что-то шло не так. Что-нибудь удобное или приятное, в основном мягкое или теплое, было давдав — в честь одеяльца, которое было у Гретель в детстве, а потом потерялось. Были еще всякие слова для описания звучания воды или реки в разное время года и при разной температуре — он не мог запомнить их всех. Он

запомнил, что если течение было быстрым, оно екало, то есть вода уекивала или екала вдоль берега; что звучание ночной реки называлось сель, а вкус реки с утра — грир. Часто он слышал слова, которых не знал, и тогда Сара смотрела на него с особым выражением, и он думал, что ей, наверное, нравится, что он понимает не все, что для него еще остаются секреты, в которые он не посвящен. Чем больше он слушал их, тем сильнее убеждался, что эти слова образовывались интуитивно, от звуков, издаваемых предметами, или от детских словечек Гретель. Наблюдая за ними, он понял, что они жили вдвоем так долго, что им уже было не важно, понимал ли их кто-то другой. Они отгородились от остального мира не только физически, но и лингвистически. Они были существами особого вида. Ему хотелось быть таким, как они, ему хотелось быть одним из них.

Когда он не был с Сарой, он ходил за Гретель, пока она проверяла капканы и вешала трупики мышей и жаб на ветряные колокольчики. Она читала ему все книжки, какие были на лодке. Больше всех ей нравилась потрепанная энциклопедия, с убористым, мелким шрифтом и яркими фотографиями. По утрам Сара давала ей уроки, состоявшие — насколько он мог видеть — в чте-

нии этой книги. Многие статьи она помнила наизусть. Например, о русской принцессе Анастасии, которая умерла молодой, и множество человек выдавали себя за нее. Или о Стиксе, одной из рек подземного мира. Она не позволяла ему касаться этой книги, но держала перед ним раскрытой и сама переворачивала страницы, показывая ему все. Больше всего ей нравились обитатели водного мира. Он подумал, что, возможно, они нравились ей потому, что их было легче вообразить в этих местах, чем львов или слонов. Они могли водиться в реке, незримо для людей, сопровождая их по жизни: рогатые киты, акулы, черепахи, форель и лосось. Ей нравились изображения океана, измерения его глубин, иллюстрации того, как образовывались реки, пробиваясь через камни. Ей нравились твердые факты, которыми она выстреливала в него как пулями. Ты знал, что голый землекоп — самый длинный из живущих в наше время грызунов? Что у них есть колонии и королевы, как у пчел.

Я ничего об этом не знаю, говорил он. Ему нравилось, когда она рассказывала о звездах, сгустках светящихся газов, соединяющихся между собой за счет собственных выделений и внутренней силы гравитации. Они существовали парами или

группами, изредка по отдельности. Было что-то удивительное в космосе, в скоплениях планет и звезд, пребывающих в постоянном орбитальном движении, в законах гравитационных полей и в том, что мы продолжаем видеть свет давно умерших звезд.

Он отвлекся, и Гретель возмутилась, что он не слушает.

Смотри сюда, сказала она. У животного на рисунке были плотные наросты на спине и боках и мягкое, кремовое брюхо.

Он может жить до ста лет. Она округлила глаза на него. Его возраст можно определить по кольцам на костях. Он может видеть в темноте. У него очень хороший слух и нюх.

О'кей.

Она прижала лицо к самой странице.

Как он называется? — спросил он. Но она ему не говорила.

Это загадка, сказала она. Или ему так показалось.

Как это?

Но она уже отложила книгу и выбежала с лодки.

Сара и Гретель называли все, что приносила река (рыбу, деревяшки, целлофановые сумки),

выносами. Люди на лодках были ходячими выносами; трупы — овечьи или птичьи — были дохлыми выносами. Он ждал, когда же река принесет ему его родителей, но она приносила только посудины, нагруженные велосипедами или мешками угля; и баржи с грязными флажками на веревках и побитыми окнами. К берегу причаливали лодки на час или чуть дольше. Все эти люди знали Сару по имени, поглядывали на него с любопытством, норовили схватить и потискать Гретель. Они пили чай или приносили с собой ящики пива, которые Сара вскрывала о борт лодки. У этих людей был заспанный вид, кости выпирали из-под кожи, а на ладонях виднелись отметины от ногтей. Когда Сара спрашивала их, куда они направляются, они отвечали: подальше отсюда. На юг, сказал один из них, как можно дальше на юг. Они рассказывали о шорохах в темноте, о следах на илистых берегах, о чем-то тяжелом на крышах их лодок. Когда она предлагала им остаться на ночь у нее, они отказывались и сами звали их к себе. Потом они отчаливали и удалялись по реке, не оглядываясь.

Наступило резкое похолодание. Палаточные штыри сломались; вода вдоль берега покрылась льдом, птицы падали с ветвей на твердую землю.

Пришла последняя лодка. Мужчина и женщина с тремя детьми, которых Гретель собрала вместе, точно овечек, и они последовали за ней. У них были нервозные, беспокойные руки и синюшные лица. Говорили они едва слышно. Сара достала самогон и разлила по кружкам. Женщина уже была пьяна или просто больна. Когда она пыталась говорить, у нее заплетался язык. Оказалось, что у них был четвертый ребенок, мальчик, который пропал. Маркус сидел молча; собственные руки казались ему неуместно большими. Их горе было таким резким, что резало глаза. Сара спросила, зачем они уехали — вдруг мальчик вернется, а их там нет? Но они сказали, что он не слышал половины слов, а понимал еще меньше. Сара дала им с собой всякого добра: курицу, пару бутылок самогона, несколько одеял.

Я не понимаю, сказал он.

Сара собирала кружки. Такого ждать, сказала она, только душу травить. Она харкнула в кулак. Блядские сигареты. Она бросила кружки в ведро с водой для мытья посуды.

Когда Гретель была маленькой, сказала она, мы не говорили о смерти, мы говорили, что кто-то уехал, и она иногда спрашивала, вернется ли что-то из этого, когда оно вернется? Даже сейчас

мне иногда кажется, что она ждет собаку, которая была у нас много лет назад, или пару умерших друзей. Она сказала мне, что не думает, что они вернутся прежними. Она не стала объяснять, что это значит, только сказала, что когда их отъезд закончится, они вернутся другими.

Он не знал, что сказать на это. Он еще не привык к тому, как она иногда говорила — не делая пауз и не спрашивая его мнения.

Я знаю, палатка у тебя паршивая. Ты можешь спать сегодня здесь, если хочешь.

У него отлегло от сердца. Он знал, что ночью палатка наполнится всем, что будет слышаться ему: маленьким телом того мальчика и Чарли; его спальный мешок будет лежать низом к реке, и мертвые станут приходить к нему с голосами и словами других людей. Сара заварила еще чаю, и они пили его, сидя на ступеньках. Гретель спала и лепетала что-то во сне. Он ощутил руку Сары на своей руке. И подумал о четвертом ребенке.

Почему они никуда не обратились? — сказал он.

Куда бы они обратились?

В полицию.

Нет. Они бы этого не стали делать.

Он не понимал. И сидел молча.

Что бы они сказали полиции? — сказала она после секундной паузы. Рассказали бы о том, что видели — что видели все — в воде? Что они знали, кто забрал их ребенка, хотя не могли объяснить этого.

Может быть.

Тогда полиция сказала бы: это невозможно, такого здесь не бывает. Скажите нам, что на самом деле случилось с вашим ребенком. И что бы они сказали?

Я не знаю.

Они бы сказали: мы видели это. Мы знаем, что это было. Вам нужно поймать его. А полиция сказала бы: вы нам врете. Что вы пытаетесь скрыть? Понимаешь?

Может быть, сказал он.

Она всплеснула руками, словно стряхивая с них воду. Мы здесь не обращаемся к полиции. Не обращаемся ни к пожарным, ни в «скорую помощь». Всегда так было. Они ничего не знают о нас, а мы знаем о них все, что нам нужно.

Но что же бывает, когда что-то идет не так?

Мы сами разбираемся, ответила она. И поднялась, давая понять, что разговор окончен.

Это была первая ночь, когда он спал на лодке, но не последняя. Он натянул на голову капюшон

спального мешка и стал дышать в него. Огонь горел до самого утра. Гретель что-то бормотала во сне, как будто даже там она не могла сдержать напор слов. А Сара лежала так тихо, что он вообще не мог понять, заснула ли она. Он чувствовал, как она лежала рядом на спине. Эта близость настораживала его, тревожила.

Ночью река нахлынула с севера и принесла много рыбы с серебристыми брюшками в мутной воде вместе с опалубкой какой-то лодки и осенними листьями из тех мест, где только наступила зима, облачками соли и гальки с моря. В воде повсюду был Бонак: в телах, призраки которых могли зацепиться за якорь и остаться здесь, в стволах деревьев, достаточно больших, чтобы сбить лодку, в водяном воре, неуверенно выглядывавшем из туннелей, залитых водой.

Шесть
Из речного мусора

Река

Его ужалила зимняя пчела, очумевшая от холода, и Сара высасывала жало из его руки. Он смотрел на белый пробор в ее темных волосах. Ее босые ноги переступали по полу, и она держала его за предплечье. Что я здесь делаю? — подумал он. И Сара распрямилась с жалом, зажатым в зубах, точно иголка.

Хочешь оставить его?

Она положила жало ему на ладонь. Приносит удачу. Особенно в такое время года. Они умирают, когда жалят тебя. Я подумала, мы можем наготовить всякой всячины сегодня. Что скажешь? Устроим пир горой, праздник живота?

Да, сказал он.

Она прижалась лицом к его щеке. Тем утром она казалась молодой, бурлящей энергией и возбуждением. Перед этим он видел, как они с Гретель делали стойки на руках на берегу, в зарослях, закидывая голые лодыжки к небу. Но-

ги Гретель покачивались и кривились, но Сара держала ноги прямо и ровно. И тогда он почувствовал жгучую боль в запястье и увидел пчелу, впившуюся полосатым брюшком ему в кожу.

Сара открыла настежь двери лодки и мыла пол на четвереньках, выплескивая ведра с грязной водой в реку. Маркус сидел на корточках рядом, готовый помочь. Сара потела. Ему хотелось спросить, волновало ли ее все, что они слышали от других лодочников, но он не решался. Он знал, что были темы, на которые они не говорили: о мертвом мальчике, об ограблении торговки мясом, о том, что все, кроме них, уплыли на юг. Люди с проплывавших лодок оставили им мяса, свежего хлеба, большой кусок желтого масла. Они устроят пир, праздник живота.

Ты мог бы устроить помывку, сказала она, потянув носом воздух, и рассмеялась. Когда ты мылся последний раз? Возьми мое полотенце. В том ведре немного моющей жидкости. От тебя такой запах, про который Гретель говорила «я хороша», когда была маленькой и терпеть не могла мыться. А я хороша — так она говорила.

Он поднял руку и прижался лицом к подмышке. О да — от него никогда еще так не разило. Прошел почти месяц с тех пор, как он мылся — в

узкой душевой родительского дома — и видел свое тело, и одевался в чистую одежду. Его волосы были заскорузлыми точно шерсть.

Будь осторожен, сказала Сара. Течение в это время года сильное. Тебя может смыть.

Он колебался. Ему хотелось сказать ей, что он слишком боится; он не мог заходить в воду. Там был водяной вор, затаившийся где-то у самого дна в ожидании.

Не волнуйся, сказала она. И он испытал тревожное ощущение, словно она знала, о чем он думал. Она коротко притянула его к себе, обняв за плечи. Не волнуйся. Если пойдешь вон туда, там есть укрытие за деревьями. Я тебя услышу, если позовешь меня.

Он тут же разозлился. Она говорила с ним так, будто он был таким же ребенком, как Гретель; будто он собирался кричать ей, как маленький. Но уже в следующий миг его злость прошла. Она придет, если он позовет. Она знала, о чем он думал.

Он остановился у палатки, взял рулон пищевой пленки и нижнее белье, чтобы постирать и оставить сушиться.

На повороте перед дамбой река расширялась, ответвляясь с одной стороны узким ручьем, вход

в который преграждали поваленные деревья, так что туда не могла заплыть лодка с реки, но по суше дойти было можно. Зайдя на берег над ручьем, он остановился в нерешительности. Все это время он пытался держаться от реки подальше, стараясь никогда — при малейшей возможности — не поворачиваться к ней спиной и вообще не забывать о ней. Едва ли был такой день, когда бы он не вспоминал о том, что видел в тот раз под деревьями; о том, чего боялись все те люди. Он мог бы вернуться, ничего не сказать, попробовать сполоснуться из ведра, немного скрыть свой запах. Он снова поднял руку и понюхал, повернул голову и понюхал волосы, начавшие отрастать, наползая на уши. Что правда, то правда — он был «хорош». У него зудели десны при мысли о том, как она нюхала его, зная, какой он грязный. Она готовила ужин, она хотела, чтобы он поел с ними, он уже почти неделю спал с ними на лодке. Он сделает все, о чем она его попросит. Если попросит уйти под воду и никогда не возвращаться, он это сделает. Он сказал себе, что это был долг благодарности ей за все, что она сделала, но он понимал, что это было нечто большее.

Он соскользнул с крутого берега и плюхнулся задницей в воду. Было очень холодно. Это ничего.

Он отпихнул от себя водоросли. Высвободил руки из первой футболки, стянул остальное ворохом, борясь с собой. Вылез из брюк, швырнул их прямо в тину и стал вертеться в воде, чтобы избавиться от вони. Потом также стянул и швырнул трусы. Он так долго не снимал пищевую пленку, что она пристала к коже и поначалу никак не отходила. Но он сумел избавиться от нее. Он неуклюже опустился на колени и стал плескать воду себе на плечи и за спину. Выдавил моющей жидкости и намылился, хорошенько скребя все тело и смывая пену.

Так странно было снова видеть свое тело. Груди были еще больше, чем раньше, мясистыми, с округлыми сосками. В остальном он похудел, впалый живот переходил в непомерно широкую грудную клетку. Руки пестрели красными волдырями от крапивы, росшей вблизи лодки, ноги были в синяках. Все тело покрывала пленка грязи, почти как чешуя, которую он безжалостно соскребал. Волосы между ног стали гуще, свалялись. Он непроизвольно попытался нащупать там то, чего не было, что не выросло от одних его мыслей об этом. Его тело напомнило ему о чем-то. Он взял одну грудь в ладонь, сжал ее и почувствовал мурашки с пяток до макушки. И

тогда он понял, что его тело напомнило ему Сару, стоявшую под душем, с закинутыми руками. Он присел и перешел подальше вдоль берега, чтобы чувствовать, как течение омывает его ступни. Он смотрел, как его кожа проступает сквозь въевшуюся грязь. Ощутил стопами корни, росшие из ила, и нагнулся, чтобы зачерпнуть его горстями. Тут же поскользнулся и, не успев опомниться, оказался под водой. Он открыл глаза в мутной воде. И видел только свои белесые, призрачные ступни перед собой. Вспомнил — молния пробежала по телу, — как он сбросил за борт мертвеца. Сбросил в воду. Попытался выбраться назад, открывая рот и пытаясь вдохнуть воздух. Вспомнил, как мертвец (*Чарли, Чарли, Чарли*) погрузился в воду и как он думал, что все реки соединялись между собой и что теперь все, что было под водой, соединилось с этим мертвым телом.

Он выполз на берег, судорожно втягивая воздух.

Охота

Дверные ручки лодки опутывала цепь, и я заглянула в люк на крыше кабины, но стекло было слишком грязным, чтобы рассмотреть что-то внутри. В кустах рядом валялась перевер-

нутая ручная тележка, заросшая сорняками, и стаканчики из-под сухой лапши. Трава имела худосочный вид — вероятно, здесь не раз жгли костер. А еще там стоял синий «вольво». Я попробовала открыть дверцу, успешно. Сиденья покрывала плесень, а на руле виднелся отпечаток рук. В бардачке я нашла карту Шотландии и пару пакетиков выдохшегося табака. На заднем сиденье валялись пакетики от чипсов, мутные бутылки из-под воды, пустые коробки для еды. У меня дрожали руки, когда я брала эти вещи. Была ли это твоя машина? Я выпрямилась, огляделась, выкрикнула твое имя. Или эту колымагу оставил здесь гнить кто-то другой? Мне так отчаянно захотелось, чтобы она оказалась твоей. Это был первый физический признак того, что ты здесь жила, ходила, высовывалась из окна. Я представила, как ты едешь на большой скорости, мимо Манчестера и Озерного края, как откидываешь спинку сиденья, чтобы поспать. Что ты искала? Не останавливаясь поесть, бросая мусор себе под ноги. Подпевая песне по радио. Думая обо мне, как я думала о тебе. Возможно, рядом с тобой сидел Маркус. Возможно, вы вдвоем говорили обо мне, говорили, что скоро вернетесь, что хотите увидеть меня поскорее.

Я обошла ближайшее поле. Ивета повсюду совала свой нос, фыркала и поднимала морду на меня, словно побуждая идти дальше. Вот куда я направлялась. Вот, пожалуй, куда мне следовало прийти в самом начале. Родные места возвращались к нам. Однако я не чувствовала, что я в правильном месте. Над толстыми соснами кружились птицы и садились на ветви. Я вспомнила, как думала о слове «трепет» в коттедже, в самом начале всего этого. Здесь тоже был трепет. Что будет можно найти; что никогда нельзя будет найти; что я уже опоздала найти. Река, казалось, едва двигалась, а по берегам было достаточно мелко, чтобы увидеть камни. Я наклонилась над ними, и меня замутило, а когда я попятилась, небо словно опрокинулось. Я обхватила землю коленями и повалилась щекой в траву. Когда я повернулась, чтобы увидеть Ивету, ее нигде не было. Я встала и громко позвала ее, но не увидела никакого движения в поле.

Внезапно мне захотелось покончить с этим. Покончить со всем этим. Я не хотела быть здесь и осматривать машину, которая могла быть или не быть твоей. Я захотела закончить это. Я нашла бутыль бензина на лодке, вылила ее на влажные сиденья «вольво» и вытерла руки о траву. Огонь

занялся не так быстро, как я ожидала, довольно долго разгорался, а потом внезапно вспыхнул. Деревья стояли не слишком далеко, и я представила, что будет, если загорится лес. Но мне было все равно. Здесь ничего не было. Мне следовало это знать. От горящей машины шел такой жар, что я забралась на лодку и стояла на крыше кабины, глядя на огонь.

Замок на двери оказался прочней, чем я думала. Я поискала что-нибудь, чтобы сорвать его. Мне не нравилась мысль, что я снова на борту, но быть на палубе мне хотелось даже меньше, чем внутри. В дальнем конце лодки, под зеленым брезентом, я нашла лопату. Ручка была влажной, но я решила, что это мне не помешает. Я засунула ее под замок и надавила.

Ступеньки, ведшие в каюту, сгнили, и моя нога провалилась вниз. На один одуряющий миг я подумала, что это была та самая лодка, в которой мы прожили все те годы, но она была другой: грязные иллюминаторы, полки вдоль скошенных стен, ворох одеял. Липкая жара. Печку давно выломали; на месте дымохода открывалось небо. Больше там ничего не было. Что-то мелькнуло в дальнем конце помещения. Я пошла туда, громко топоча на случай змей. Все пахло плесенью, здесь

слишком долго никто не появлялся. Одеяла расползались у меня в руках. Я уже забыла, каково это — ходить по лодке, чувствуя качание при каждом шаге; воду у себя под ногами. Я присела под колонной света из дымохода. Съела немного хлеба, взятого из дома.

Должно быть, я заснула, потому что помню, как проснулась вся в поту и пошла отлить. Остов машины еще дымился, а в обугленной грязи вокруг были видны норы. Я стала пинать их ботинками. Не кротовые и не кроличьи, а симметричные, с ровными краями; их сделали ручкой лопаты, которая была воткнута в землю неподалеку. Эти норы казались не случайными, словно доисторические символы, которых я не понимала. Я ничего не слышала, и у меня застучали зубы при мысли о том, что кто-то здесь хозяйничал незаметно для меня. Я вернулась на лодку, положила спальную сумку на крышу и уселась на нее. В основном там были только птицы, взлетавшие с сосен, и пара белок, и еще слышалась река. Было так тепло, как никогда на моей памяти, и я стала клевать носом, мои глаза застилало белое марево, и я уперлась ногами в водосток для устойчивости.

Когда я пришла в себя, я почуяла какое-то движение в лодке подо мной. Я взяла лопату в одну

руку, взмахнула ей пару раз для разминки. Сошла на корму и открыла дверь ногой. Я услышала чье-то дыхание с присвистом и движение по сырому полу. Внутри было так темно, что я увидела только очертания фигуры — стоящей, с длинными руками и белесым овалом головы. Бонак. Он вернулся. То, чего мы боялись все это время. Я замахнулась лопатой.

Ты вышла из тени и уставилась на меня, закрываясь одной рукой от света. Я выронила лопату, которая отскочила от чего-то, едва не задев меня по лицу. Я протянула к тебе руки, и ты посмотрела на меня с подозрением.

Зачем ты сожгла мою машину? — сказала ты.

Я тянулась к тебе, хотела коснуться твоего лица и волос, твоих рук. Но ты шипела и отмахивалась от меня. Ты не поверила мне, когда я сказала, кто я.

Гретель была ниже, сказала ты, и волосы у нее были другого цвета. Зачем ты сожгла мою машину?

Ты казалась взвинченной. Я не приближалась к тебе, ты ко мне тоже. Казалось невозможным, чтобы ты была здесь, чтобы я нашла тебя. Я все еще ждала, что ты выскочишь из лодки и побежишь в лес. Я сказала себе, что если ты так

сделаешь, я побегу за тобой. Я была на нервах, сама не своя; ты была здесь, во плоти, вся как есть, без остатка. Мне хотелось привязать тебя к себе, чтобы ты больше не убежала от меня. Ты осторожно обходила меня, словно боясь, что я на тебя брошусь. Мне этого хотелось. Мне хотелось стиснуть тебя и не отпускать. Я еще никогда не была взрослой с тобой. Я чувствовала, как откатываюсь назад, в прошлое. Мне хотелось, чтобы ты готовила мне, пела колыбельные, мыла волосы и заплетала косы. Ты была моей матерью. Мне снова было тринадцать лет; мне было шестнадцать. Ты приносила мне засохшую сдобу из закусочной, в которой подрабатывала, ты плакала по ночам, мы дрались. Я не сердилась; я любила тебя.

У тебя есть какая-нибудь еда? — спросила ты.

Нет.

Ты смотрела на меня искоса. Я встала под светом из дымохода, надеясь, что ты узнаешь меня. Мне так ужасно хотелось, чтобы твое лицо прояснилось оттого, что ты узнала меня, чтобы ты сказала, что искала меня много лет, и теперь, когда нашла, все будет хорошо. Я хотела, чтобы ты сказала, что у тебя есть объяснения всему случившемуся: тому, что ты оставила меня, в первую очередь тому, что ты была такой матерью, какой

была. На меня внезапно накатило горячечное ощущение того, что я могу свободно разрыдаться перед тобой. Я не могла вспомнить, когда плакала последний раз. Я сжала нос обеими руками, загоняя назад это чувство.

Эль была моложе, сказала ты упрямо. И уперла руки в боки знакомым мне жестом, означавшим конец разговора.

Я рассматривала тебя, пытаясь охватить взглядом всю сразу, целиком. Ты тоже постарела. Я видела, как твое тело обвисло под одеждой, раздалось на животе. Твое лицо стало немного другим, щеки слегка округлились, шея обмякла. Ты словно сжалась и стала еще ниже, чем я помнила. Но на руках у тебя еще просматривались мускулы, как и на икрах, что я заметила, когда ты подтянула брюки и почесала ногу. Твои пальцы пожелтели, и я ожидала, что ты сейчас закуришь в своей обычной манере. Но ты только похлопала по боковому карману и цокнула языком так привычно, что я невольно погладила тебя по плечу, узнав свою маму из детства, которая все время цокала, хмыкала или насвистывала от раздражения, веселья или нетерпения. Футболка на твоей груди выдавалась с одной стороны, а с другой провисала. Я глазела на тебя. Не могла не

смотреть на тебя. Глазела во все глаза. Ты тоже смотрела на меня, прищурившись, словно твое зрение стало уже не таким острым, как раньше.

У тебя есть какая-нибудь еда?

Нет.

А что ты делаешь на моей лодке?

Здесь никого не было, сказала я.

Тебя это как будто озадачило, и ты обхватила лицо руками. Мне казалось, я была здесь, сказала ты.

Когда начало темнеть, ты стала дрожать от холода. Мне по-прежнему хотелось схватить тебя в охапку; я с трудом удерживалась от того, чтобы засунуть тебя в спальный мешок, уложить на пол и прижаться к тебе лицом. Ты была моей мамой. Ты была моей мамой.

Я хотела собрать веток для костра, но боялась, что, если я отвлекусь от тебя, ты опять пропадешь.

Может, выйдем наружу? — спросила я. И ты пошла за мной, хотя держалась на расстоянии. Я слышала, как ты материшься на сосны, ломая ветки своими крепкими руками. Когда я начала разводить костер, ты отстранила меня, бормоча, что так не годится, и переделала мой неуклюжий шалашик.

Пляшущее пламя преобразило твое лицо и фигуру, обратило время вспять, и я сидела у костра с тобой, как много лет назад. Глядя на тебя, я чувствовала, как во мне что-то начинает оседать, отступать. Решимость или твердость; взрослость. Я думала, что буду злиться на тебя, но испытывала почти одно облегчение. Я нашла тебя. После всех этих лет. Ты была здесь. Я открыла рот, собираясь сказать, объяснить тебе все, но ты окинула меня злобным взглядом через огонь.

Что ты делаешь на моей лодке? — сказала ты. Кто ты такая? Чего ты хочешь? Зачем сожгла мою машину? Я собиралась ехать на ней.

Я не знаю, кто сжег ее. Я даже не знала, что ты умеешь водить.

Когда я сказала это, ты успокоилась. И стала шевелить ботинком головешки, напевая какие-то строчки из песен, которых я не знала. Твои волосы совсем побелели и отросли длиннее, чем когда-либо. Ты закатала рукава куртки и брюки и протянула голые ноги к огню. Я увидела шрамы, которых не помнила. Один, на икре, был особенно жутким. Я указала на него.

Где ты его получила?

Ты пожала плечами, потрогала шрам пальцем. Где-то напоролась.

Ты стала смеяться, хохотать, пока не закашлялась. Ты знакома с Гретель? Ты сложила руки на груди, словно баюкая младенца. И огляделась. Она, наверно, спит.

Нет, не знакома, сказала я. Ты живешь здесь с Гретель?

Ты кивнула и подвинула ботинком головешку. Первого ребенка я же бросила. Ты внимательно посмотрела на меня через пламя. Так что теперь у меня только Гретель. Ты помнишь, сказала ты, первую лодку? Помнишь ребенка?

Нет.

Ты сложила руки на груди, твой рот задрожал. Мне стало почти стыдно видеть тебя такой. Когда ты была моложе, ты не позволяла себе слабости или сомнений. Я снова потянулась к тебе, но ты взвыла и отстранилась, суча ногами по земле.

Я ей звонила. Просила прийти. Но она еще не пришла.

Это я, Сара. Я слышала твое сообщение. И читала письмо. Я искала тебя.

Ты надула щеки от изумления. Я такая недотепа, сказала ты. Я столько всего теряю. На днях я посеяла ключи от машины и теперь застряла здесь. Может, мы вместе найдем их? И другие вещи. Которые я потеряла. Мы найдем их все.

Может быть, сказала я.

Мы найдем ребенка.

Я здесь, мам, сказала я. Я уже не ребенок.

Ты так порывисто нагнулась ко мне через огонь и схватила за щеку, что я даже не успела шелохнуться. Твои длинные ногти впились мне в кожу, и я почувствовала кровь на щеке. От твоего прикосновения я чуть не задохнулась. Боже правый, Гретель, сказала ты. Боже правый.

Река

Пир. Они ели соленую свинину руками. Еще была вареная картошка в сметане и хлеб с сыром. В печке шумел огонь. Сара постоянно подливала ему, так что он уже не помнил, сколько выпил, — стаканы у него в уме кружились каруселью. Он блаженствовал, в животе у него бурлило. Он съел еще свинины, хрумкая поджаристую корочку. Он наелся досыта, но Сара положила ему еще, и он съел это. Она все время что-то говорила, а он только вставлял отдельные слова. Гретель дремала с открытым ртом, положив лицо на согнутые руки.

Сара привалилась к стене, вытянув ноги. Он смотрел на ее губы и на белую кожу шеи над воротом платья. Он подполз к ней на четвереньках

и — раньше, чем понял, что делает — положил голову ей на колени. Он чувствовал, как вино пульсирует у него в запястьях и пальцах. Она положила руки ему на голову, запустила пальцы в волосы, обхватила виски, которые болели.

Я ушел под воду, сказал он. Когда я мылся, я ушел под воду.

Он чувствовал, как слова вырываются из него, точно пузыри воздуха, сами собой. Она продолжала гладить его по голове, приглаживая волосы.

Это ничего, сказала она прежде, чем он успел рассказать, что он наделал. Что он убил человека. Что он убил человека и сбросил его в реку. Она подняла его голову со своих коленей одной рукой, встала, опрокинула стакан. Рядом стояло ведро с мыльной водой, которую она вскипятила перед этим. Она убрала тарелки со стола, одну за другой, и сложила в ведро. Он видел, какая вода горячая, по красным отметинам на ее руках, по пару, окутавшему ее лицо и волосы. Она повернулась к нему, обернув мокрые руки подолом платья.

Ты когда-нибудь думал, сказала она, как он может выглядеть?

Он был настолько пьян, что не сразу сообразил, о чем она спрашивает. Он сосредоточился на ней. Да, думал, сказал он. Хотя он не был в этом

уверен. Задумывался ли он хоть раз о том, как может выглядеть Бонак.

Я тоже, сказала она. Ее голос стал молодым, как у Гретель. Ее руки были все еще обернуты платьем. Я недавно думала об этом. И Гретель тоже, я это знаю.

Она не спросила его, каким он представлял его. Она сказала ему, что когда она представляла Бонака, у него было длинное тело, мощные мускулистые ноги, бледное брюхо, зубастый рот, с зубами, выпиравшими из мягких десен. Он, разумеется, мог быстро плавать, но также мог быстро перемещаться по суше. Он мог питаться чем угодно. Он мог есть все, что захочет. Он был умным. Он мог выучить человеческий язык, если захотел бы, хотя — как она подозревала — он этого не хотел. Чего ради?

Он вытирал посуду, которую она мыла. Гретель тихонько бормотала во сне у них за спиной. Он ощущал жар от ее плеча.

Я думаю, может, тебе лучше уйти утром, сказала она. Я не знаю, откуда ты пришел, но тебе нужно вернуться туда.

Я не могу вернуться, сказал он.

Ну тогда ты можешь пойти куда-то еще. Тебе нехорошо тут находиться. Это неправильно.

Найди себе место в городе. Может, на вокзале. Где-нибудь, где даже не знают, что есть такие, как мы. На свете полно таких мест. Все люди забывают. Ты тоже забудешь. Что угодно можно потерять, если хорошенько постараться.

Она подняла бутылку и допила все, что в ней оставалось. Он видел ее острые зубы сквозь стекло. Но пока ты еще не ушел, мне нужна твоя помощь в одном деле. Ты мне поможешь?

Да. Конечно. О'кей.

Опухоль, сказала она, у нее под мышкой, ближе к низу. Она почувствовала ее неделю назад, но было почти невозможно сказать наверняка без посторонней помощи. Я больше сама воображала, чем чувствовала, сказала она, что там было на самом деле. Они слышали, как спит Гретель, шумно дыша носом и подергивая ногами, как собака, которой снится, что она гонится за кроликом.

Что вы хотите, чтобы я сделал?

Она показала ему, как нужно держать руки, сплетя пальцы, как разминать кожу.

Ты ищешь что-то постороннее, чего там не должно быть.

Кость в его хромой ноге начала вибрировать, как будто от удара. По ее груди расползались голубые вены, напоминая карту, а вокруг соска

вились темные волоски. Она показала ему это место под мышкой. Он надавил там руками.

Сильнее.

Он мял мягкую плоть. Ее грудь упиралась ему в плечо, и он чувствовал ее дыхание. Это было слишком для него.

Нет, сказал он. Я ничего не чувствую. Хотя, когда он уже убирал руки, ему показалось, что, возможно, там что-то было. Словно маленький хрящик.

Это хорошо, сказала она, опуская платье. Если захочешь, я у тебя тоже посмотрю — только скажи. Пока ты еще здесь.

Что? Он отвернул лицо от нее.

Когда скажешь. Я посмотрю. А теперь спи.

Охота

Я оставалась с тобой у реки, спала на лодке, разжигала на ночь костры, чтобы не мерзнуть, ела консервы, которые принесла, прямо из банок. Я привыкла быть с тобой; перестала волноваться, что я проснусь, а тебя нет. Ты как будто тоже привыкла ко мне. Однажды утром ты назвала меня Гретель так запросто, словно никогда не сомневалась в этом. Ты хмыкала на меня, трепала за щеки, пыталась вычесать колтуны из моих

волос. Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла? Ты сплюнула себе в ладонь и стерла грязь у меня с лица. Когда я ходила за дровами для костра, ты всегда шла за мной, ловя меня за руки или потягивая за волосы, довольно сильно.

Это такой давдав — видеть тебя, Гретель, сказала ты. От этого древнего слова у меня внутри все поплыло. Ты сказала это так игриво, с таким подъемом, совсем не так, как мне помнилось. Это такой давдав. Я закрыла глаза.

А бывало, что ты вела себя совсем как маленькая, и я ничего тебе не говорила. Ты возилась в грязи или скрючивалась у костра и смотрела на огонь. Ты спускала штаны и мочилась прямо на месте. Мне хотелось рассказать тебе все, что случилось со мной, но твой разум был как решето, и все в нем было дырявым или собрано из речного мусора.

С первым светом третьего дня, что я была с тобой, ты забралась на крышу лодки и указала в сторону деревьев.

Он спит днем, прокричала ты.

Я залезла за тобой. Ты лежала на спине, и я легла рядом. Ты показывала мне созвездия в небе, несмотря на то, что было светло. Ты схватила меня за руку и держала, вдавливая ногти мне в

ладонь.

Кто спит? Кто спит днем?

Ты не ответила мне. На небе виднелся бледный абрис исчезавшей луны. Утро всей своей массой укрывало жару. Река уекивала, полная всяческих выносов. Я задремала ненадолго, а когда проснулась, тебя уже не было. Над зарослями волновалось марево, удушливый запах горячей земли. Это была поганая земля — клубок рельсов за деревьями, гнилостный шлюз. На всем лежал тонкий слой пыли, как после вулкана или бури. Я обошла всю лодку, но тебя нигде не было, и в зарослях тебя не было, и у воды. Я стала прочесывать лес, чувствуя злую досаду, и громко звала тебя. Это место засасывало людей, заглатывало их целиком. Я даже собаку потеряла.

Что-то мелькнуло за деревьями, живое, дрожащее. Ты была на середине берега, нагнувшись в воду почти по плечи, а твое платье намокло вокруг поясницы. Я позвала тебя по имени, и ты обернулась и глянула на меня. Твой широкий рот растягивался в щербатой улыбке.

Ты чуть-чуть упустила его, сказала ты, он был здесь только что.

Однако, когда я взглянула на воду, мне показалось на секунду, что я заметила что-то, под самой

поверхностью, исчезающее.

Я поняла, что ты имела в виду в том письме, что нашла не Маркуса, как я надеялась; ты нашла Бонака. Когда я поняла, что ищу, мне стало очевидным все, что там было. Повсюду я стала видеть его признаки: следы вокруг лодки, отметины на деревьях и отпечатки в грязи. Я замечала это во всех наших местах. Ты показала мне характерные признаки: необычно притертые берега и отпечатки когтей; подводную кладовую под торчавшими из воды корнями дерева, где мы смогли различить овцу. Трава была примята его весом. Даже верхняя часть лодки несла на себе отчетливые отметины его пяти когтей.

Он спит, сказала ты мне, с открытым ртом, а иногда и с открытым глазом.

Ты казалась безмятежной, спокойной, даже умиротворенной. Я подумала о том, как ты тогда скрючилась в воде, вытягивая руки. В этом было что-то почти свойское. Как будто ты состарилась и примирилась с этим. Словно пришла к какому-то соглашению.

Но ты убила его, говорила я тебе снова и снова. Ты как будто не слышала меня. Я думала, сказала я, что ты убила его. Ты подняла платье над коленями и всплеснула руками. Ты улыбнулась

мне, прекрасной мягкой улыбкой. Я помнила, как ты говорила мне, что убила его. Той ночью, под конец долгой зимы.

Я смотрела, как воспоминание об этом отвердевает передо мной. Я помнила, как ты укрепила лампу на носу лодки и поставила меня следить за речным мусором, за стволами деревьев, такими большими, что они не давали лодке пройти. Ты обернула мои плечи одеялом, поцеловала в лоб ледяными губами. Где Маркус? — спросила я. И твое лицо показалось мне бесплотным в сумерках, твои глаза закрылись и не открывались дольше обычного.

Он скоро нагонит нас.

А Бонак мертв? — спросила я.

Да, сказала ты. Без колебаний. Я убила его прошлой ночью.

Мне даже на ум не приходило, что ты могла соврать.

Все эти годы, пока я искала тебя, ты охотилась за Бонаком. Ты говорила об этом почти в религиозных выражениях; это был твой крестовый поход. Ты видела в этом, как я считала, своего рода епитимью. Людского мяса фунт[24]. Ты гово-

---

[24] Примечания: 24

Отсылка к пьесе Уильяма Шекспира «Венецианский купец».

рила мне об этом с гордостью, как о героических похождениях, но мне это виделось навязчивым кошмаром, одним из тех, что преследовали нас.

После того как ты оставила меня одну в конюшне, ты вернулась на реку, но его там уже давно не было. Ты рассказывала мне, как присматривалась ко всему, прислушивалась. Кто-то убивал кошек у пролета бирмингемских шлюзов. Где-то еще целое стадо овец пропало за ночь. А где-то в реке нашлась одежда детей, не пришедших домой. Ты ходила по судоремонтным мастерским, лагерям лодочников и прочим подобным местам, куда не совалась полиция, потому что даже не знала о них. Лодочники ценят хорошие истории. Ты вскарабкалась по Англии, как по лестнице, до самого верха — и добралась до Шотландии.

Годы тщетных поисков и ложных следов, и наконец ты опять заметила его в одной небольшой горной речке. Он двигался медленней, чем ты помнила, почти устало — скользнул по берегу и был таков. Ты и сама постарела и была уже не так уверена в себе, как раньше. К тому времени, как ты спустилась к воде и ударила по ней ножом, его там уже не было.

Ты преследовала его с юга на север и с севера

на юг. Бонак — словно он знал, кто был у него на хвосте — плавал до тех пор, пока не доплыл до того места под соснами, и только там остановился. Ты видела, как он выбрался на сушу, зарылся во влажный ил, чтобы охладиться, и стал обсыхать на солнце. Ты наблюдала, как он охотился за вялой, ленивой рыбой или выжидал в засаде грызунов, приходивших на водопой. Он был умным. Ты наблюдала, как он охотился на птиц, притаившись под водой и выставив веточку, зажатую в зубах, чтобы приманить их. Между вами установилась некая взаимосвязь. Ты иногда сидела на крыше старой лодки, которую нашла там, и напевала что-нибудь, пока это создание сидело под водой и слушало тебя. Иногда, поймав кролика своим капканом, ты съедала только половину, а остальное бросала ему. Ты рассказывала мне это частями, пока мы собирали дрова или слушали, как течет вода. Рассказывая эти истории, ты была как раньше, словно ничего не изменилось, ты сознавала все, что прошло с тех пор. Я наблюдала за этими моментами твоего просветления с трепетом, зная, что они не будут длиться долго. Ты рассказала, расплакавшись, как ты забыла, зачем преследовала его, в чем был смысл всего этого. Ты совершенно забыла, что

собиралась когда-то убить его.

Река

Они ловили голавлей и щук. Сара сидела в задумчивости на другом конце лодки, свесив ноги за борт, удочка упиралась ей в живот, и она вытягивала леску, а потом забрасывала ее дальше, чем Маркус или Гретель.

Проснувшись утром, он увидел в ногах своего матраса сумку, которую собрала ему Сара. Он кружил вокруг нее, охваченный тревогой, ожидая, что она скажет ему, что он должен уйти. Его руки помнили ночные прикосновения к ее телу и ощущение желвака под пальцами, который он как будто нащупал у нее под мышкой. Он не был уверен. Она отчистила тарелки от засохших остатков пищи, нарезала сморщенное яблоко на дольки и заставила Гретель съесть их. С ним она почти не говорила, только спросила, рыбачил ли он раньше. Один раз, сказал он. Она показала ему, как насаживать червей на крючок. Он понял, что он сам должен принять решение уйти, что она не станет прогонять его. Но также он понимал, что не мог уйти. Точнее, он ни за что не мог уйти от нее.

Его удочка напряглась и завибрировала.

Влажные руки соскользнули со спиннинга, он замешкался и чуть не выронил удочку. Леска натянулась и задрожала. Он увидел шевеление в воде. Затем показалась массивная рыбья голова. Сквозь толстую верхнюю губу торчал крючок, а серое тело билось из стороны в сторону. Гретель подошла к нему и присела на четвереньки, глядя на рыбу.

Вынимай. Вынимай ее, сказала она.

Он поискал глазами Сару, желая, чтобы она видела это. На миг ему показалось, что вода втянет рыбу обратно. Мелькнул рыбий хвост. Маркус уперся ногами в узкую рейку, переместил вес с хромой ноги. Рыба качалась в воздухе, длинная, как его рука, с глазами цвета пуговиц на пальто Гретель, которое она сбросила с плеч и держала наготове, чтобы обернуть им рыбу. Он стал подтягивать ее к лодке.

Бонак выскочил из-под воды прямо под рыбой, с разинутой пастью. Его ребристая спина была цвета мха, мягкое брюхо было белесым, а вдоль тела дрыгались короткие мускулистые лапы. Его тело так причудливо изогнулось, что казалось, у него совсем не было скелета, только упругая плоть. Он выглядел — Маркус успел подумать об этом — в точности как говорила Сара. Челюсти

монстра сомкнулись на рыбе, и в следующий миг они вместе ушли под воду. Удочка рванулась с жуткой силой из рук Маркуса, так что он соскочил с места и повалился на хромую ногу. Затем леска лопнула, и удочка выпала из рук в воду.

Семь
Бонак

Река

Я думаю, нам нужно поймать его, сказала Сара. Бонака. Мы его поймаем.

Он надеялся, что она передумает, и они отчалят от берега и уплывут подальше отсюда, вниз по течению. Она позабудет, что говорила ему, что он должен уйти, и он останется жить с ними на лодке навсегда.

Нам нужно — она как будто почуяла его сомнение — поймать его.

Гретель положила на стол один из своих капканов для грызунов и разобрала его, чтобы показать, как он устроен. Сара издала возглас одобрения, осмотрев его конструкцию, поняв силу его хватки, слаженность пружинного механизма. Она не ложилась всю ночь, ей не сиделось на месте, она перекладывала вещи, щелкала пальцами и шаркала ногами по полу. Один раз она подошла к Маркусу и нависла над ним, закусив толстую губу, обхватив себя руками и постукивая пальца-

ми по бокам.

Что? — сказал он.

Ничего.

Но она продолжала пристально смотреть на него из-под прикрытых век. Он не знал, чего она хотела. Однако почувствовал, что у него горит лицо, и отвернулся, заняв мысли чем-то другим, ощущая кожей шеи ее взгляд.

Гретель показала им, как отводить пружину и устанавливать приманку, чтобы при легком нажатии капкан захлопнулся. Они сделают клетку и положат приманку с одной стороны, а с другой приспособят дверцу. На лодке было недостаточно места, так что они вынесли все, что нужно, на берег и стали работать там. Стены клетки они соорудили из старой изгороди, стянутой проволокой, а для веса использовали пустые топливные канистры, наложив в них камней. Сара сняла дверь с лодки и прикрепила к клетке с одного края. Клетка была такого размера, что в ней мог уместиться человек на четвереньках, но распрямиться в полный рост было бы проблематично.

Мы можем пойти в лес, найти ближайший городок, сказал он громко. Они обе посмотрели на него. Мы можем просто уйти, сказал он.

Дальше вниз по течению, за нами, есть еще лод-

ки, с целыми семьями, сказала Сара и замолчала. Он понял, что она имела в виду, — что, если они его не поймают, умрут другие люди. Он подумал о пропавшем мальчике. О его коже, сморщившейся после стольких дней в воде, о его побелевших глазах. Он подумал о себе, что, если бы он вернулся к родителям — после всего случившегося, — это было бы для него чем-то подобным: словно бы он умер и вернулся другим, совершенно новым человеком.

Капкан был громоздким, неказистым. Канистры, поднятые над открытой дверью, загремели камнями. Клетка получилась тяжелой, неповоротливой.

Нам не нужно, чтобы она стояла очень долго, сказала Сара. Это не война; это только одно сражение. К концу недели все вернется к норме.

Он не понимал, что она имела в виду. Ничто уже не будет таким, как прежде. Она принесла последние останки свиного скелета, установила их с краю капкана. Прикрыла проволоку сухой листвой и парой веточек.

Вроде как блесна, сказал он, вспомнив это слово.

Сара посмотрела на него. Откуда ты это знаешь?

Он не ответил. Она покачала головой.

Рядом с ним Гретель не болтала и не плясала, а неподвижно свешивалась с края лодки, наблюдая за ними. Он задумался, глядя на нее, знала ли она все это время, кем было это создание. Он подумал о страницах энциклопедии, которые она ему показывала, о ее пустых капканах и обо всех ее разговорах про загадки. Он попробовал вспомнить, каким был Бонак, как он выскочил из воды, изогнулся и схватил рыбу, висевшую на его леске. Но воспоминание было нечетким, и он не мог с уверенностью восстановить его облик, сложив отдельные части в целое.

Куда мы направимся, когда все это будет позади? — сказала Сара, качая руку Гретель и улыбаясь ему. В какую страну поплывем?

Я не знаю.

Куда-нибудь, где жарко. Ты бы лучше смотрелся загоревшим.

Да, сказал он, вложив в это слово все, что в нем было. Да.

Сара решила, что они встанут на якорь посреди реки, чтобы быть как можно дальше от ловушки, но иметь возможность наблюдать за ней. Они проверили швартовы, затем отчалили и дали лодке отплыть по течению. Тросы упали в воду,

потом натянулись, удерживая лодку на месте. Он бросил якорь; едва тот погрузился в воду, утягивая за собой рокочущую цепь, он потерял его из виду. Течение в реке было очень высоким и быстрым. Он сжал штурвал. На крыше сидела Гретель, согнувшись и вцепившись в рейку. Вода шумела у борта лодки. Ловушка на берегу словно бы насторожилась, полностью сознавая происходящее. Что-то прошелестело у них над головами — вероятно, летучая мышь, взмахивая зазубренными крыльями.

Маркус проснулся ночью в горячем поту. Солоноватая вода сочилась в углах лодки, запах проросшего чеснока исходил от стен. Он ощущал, как обрывки виденного сна расползаются по его лицу клочьями паутины. Ему снилась гостиная в доме родителей: с карнизов свисали гирлянды, на деревянном столе лежали остатки торта, раковина была наполнена мыльной водой. Он слышал движение на втором этаже и шум реки снаружи, так громко, словно она подступила к самому саду, разлившись вплоть до моста. Как один раз при наводнении. И там была Фиона, хотя он не различал ее лица, только смазанные очертания, длинные руки и то платье, которое было на ней в ту ночь. Она снова говорила ему,

что он сделает со своими родителями. Ее слова сгущались в душном воздухе; он смотрел, как они поднимаются у нее изо рта и плывут к нему. Она говорила их снова и снова, каждый раз все напряженнее, так что он чувствовал, что упускает что-то, упускает их смысл, их значение было ему неясно. Он протянул к ней обе руки — и она сказала голосом Сары: *Марго?*

Сара сидела на кровати, в ворохе одеял, щурясь на него над чашкой горячего чая. Он был квелым спросонья, очертания комнаты медленно возникали вокруг.

Где Гретель?

Я вывела ее поспать на крыше. Она в порядке, она уже спала там раньше. Мне нужно было кое-что обхекать.

Он с трудом поднялся, суставы затекли от лежания на твердом полу. Извини. Я тоже пойду наверх. Посижу немножко с Гретель, сказал он.

Она как будто не слышала его. Не желаешь чаю?

Он не был уверен, что кивнул, но она протянула ему чашку. Он видел, что оба ее плеча над одеялом были голыми. У него в ногах лежал ворох одежды. Он поднял кружку, промахнулся мимо рта и ошпарил руку. С кровати прозвучал ее мягкий

смех. Он отпил слишком быстро, обжег язык.

Я думаю, сказал он…

Иди сюда.

Его ноги сами шагнули к ней. Словно подхваченные течением. Снаружи все еще было темно. Она была голой под одеялами. Его руки дрожали. Она стала расстегивать пуговицы на его рубашке, одну за одной. На него накатил страх, такой же, подумал он, как когда оступишься на лестнице. Она стянула с него носки, и он удивился, неужели так будет лучше. Само собой, подобно стихийному бедствию. Все к этому шло, подумал он. Вот почему я пришел сюда. Вот зачем я здесь. И вдруг волна паники поднялась в нем от живота до горла. Нет, подумал он, нет. Лицо Фионы — смазанное цветное пятно — всплыло из сна, и ее рот произнес эти ужасные слова.

Погоди, сказал он. И положил руки ей на плечи.

Не волнуйся.

Когда она начала расстегивать его брюки, он внезапно вспомнил то, о чем привык совсем не думать. О том, что все время скрывал.

Подожди.

Она успокоила его, подняв руку, и спустила его брюки до колен. В лодке было холодно, но она

потела. Она прижалась лицом к его коленям, глубоко вдохнула. Покачнулась, приложив руку ко рту, подняла лицо к нему на миг. Мне нужно, сказал он, но она не дала ему договорить, быстро стянув с него одежду через голову и приникнув к его коже. Ее пальцы пощипывали его живот. Он увидел себя словно ее глазами: пищевую пленку, туго обматывавшую его грудь, пучки заскорузлых волос под мышками. Вот ее пальцы нашли край пленки, и она стала вертеть его, пока не размотала все. Ее рот захватил влажной хваткой его сосок. И снова это чувство пропущенной ступеньки, о которой он уже знал и сознательно полетел кубарем с лестницы. Она стянула с него нижнее белье раньше, чем он успел сказать что-либо. Куст русых лобковых волос, нервный разряд в кончиках пальцев и языка, вспышка в извилинах мозга. Она отвернулась и стала трогать себя, наяривая рукой между ног и теребя свою грудь. Когда она снова взялась за него, ему пришлось напрячься: он бился головой о стену, неудобно заведя под нее руку, его дыхание клубилось между ними. Она всунула лицо ему между ног, и он внезапно ощутил прохладу ее языка. И понял с изумлением, что она все знала с самого начала. Комната накренилась, опрокинулась, наскочила

на него и стала елозить стеной ему по лицу, втискиваясь в него влажными углами.

Коттедж

Нам следовало оставаться на реке; ни за что не приезжать сюда. Ты не создана для жизни в домах. Ты, словно животное в зоопарке, тоскливо смотришь из окон. У меня такое чувство, что я врежу тебе, ненамеренно. Словно ребенок, который взял яйцо и случайно разбил его. Хотела бы я знать, что делать. Прошел почти месяц с тех пор, как я привезла тебя сюда на автобусе, и я не знаю, как мы будем жить дальше таким образом. Я набираю для тебя ванну, но ты психуешь, забиваешься в угол ванной комнаты и хнычешь.

Все в порядке, говорю я.

Ничего не в порядке, говоришь ты. Блядь.

Ну хорошо.

Говно, говоришь ты. Говняное говно, мудомания, хер моржовый.

Я смеюсь, а ты впадаешь в ступор, словно малое дитя, столкнувшееся с чем-то непостижимым.

Пресвятые паскудники? — говорю я.

Ты с надеждой косишься на меня, притянув край моего халата к своей костлявой груди. Я собираюсь с духом.

Гребаный, пидорский, паскудный, сучий потрох.

Ты издаешь смешок, почти вскрик.

Гнойные, блевотные, ебучие ушлепки. Говорю я громче. И жду.

Курва, говоришь ты.

Монашки-какашки, ведьмино отродье. Курва.

Залупы и мошонки.

Писписка епископа, говоришь ты.

Нас обеих разбирает смех, мы уже в истерике. Ты сложилась пополам, прижав кулаки к животу. Я случайно сшибаю шампунь с края ванны, и мы снова хохочем. Когда я прихожу в себя и распрямляюсь, ты тоже перестаешь смеяться и пристально смотришь на меня.

Чего ты так смеешься? — спрашиваешь ты. Чего смешного? И я чувствую, как на меня накатывает тошнота вроде морской болезни. Я так искала тебя, но в итоге нашла кого-то другого с твоим лицом. Ты ворчишь.

Только шучу, говоришь ты и опять начинаешь смеяться до слез. Я обнимаю тебя. Я обнимаю тебя и держу так крепко, как только могу.

На следующий день ты говоришь мне, что хочешь рассказать мне о ребенке, которого ты бросила.

Все хорошо, мам, говорю я. Я здесь.

Ты выходишь из себя. Не ты. Не ты.

Ты берешь свой блокнот и рисуешь лодку с квадратными окошками и лицами в них, и дорожку, уходящую вдаль. Ты показываешь мне рисунок. На дорожке нацарапана женская фигурка с поднятыми руками, держащими продолговатый сверток с ребенком. Я пытаюсь спорить с тобой. Пытаюсь сказать, что не хочу слушать истории про себя; я хочу узнать про Маркуса, про Бонака. Ты так вцепилась в рисунок, что помялись уголки. Ты похудела, в основном лицом. Я пытаюсь вспомнить, достаточно ли кормлю тебя. Я не могу вспомнить, когда сама последний раз нормально ела или пила, не считая воды из-под крана, которую я набираю в ладони. Твое лицо искажается гневом, твои руки округляются.

О'кей, говорю я, о'кей. Рассказывай мне все, что хочешь.

О'кей?

О'кей.

Сара

Тебе тридцать три года. У тебя появились новые центры гравитации, новые орбиты: ребенок и мужчина. В словаре твоего разума прописаны

такие слова, как «терпение» и «самоотверженность». Ты куришь по десять сигарет в день. Тебе снятся озера, настолько огромные, что в них могли бы уместиться планеты.

Когда Чарли и ребенок заснули, ты выскользнула на дорожку. Света там не было, и на всем лежала тьма. Ты оставалась там, пока не стала замерзать. Сквозь тонкие стенки лодки ты слышала, как ворочался и шевелился младенец, вот-вот готовый проснуться. А где-то невдалеке слышались другие звуки: кто-то рылся, скребся в грязи. Ты вжалась в изгородь. Этот звук приближался к тебе по дорожке, а потом переместился на крышу лодки. Когда ребенок начал плакать — не сильно, но настойчиво, — ты стала вслушиваться в эти звуки, как и это нечто, в полной темноте. Ты стояла и ждала, когда оно протолкнется своим плотным телом в печную трубу и вывалится на полкомнаты. Ребенок лежал в колыбели в ногах твоей кровати. Оно учует его, возьмет за край одеяльце своими умными когтями и унесет ребенка прочь. Ты возжелала этого прежде, чем успела остановить себя. Назвать нечто по имени значит дать ему силу, и тьма способствовала этому. Ты затолкала это желание обратно в глубь себя и каждый день с тех пор ты думала о своей дочери:

теперь я буду любить ее.

Девочке было уже десять месяцев, но она — как ни подбадривал ее Чарли — никак не ползала. Ей нравилось сидеть у стола, есть бананы или рассматривать книжки-картинки и пазлы, которые Чарли покупал ей в благотворительных магазинах. Она елозила на попке или перекатывалась по сторонам, но ее ножки безвольно болтались, и после нескольких таких поползновений она успокаивалась, очевидно довольная собой.

Что на картинке? — говорил Чарли. И она взглядывала на него, словно ее укусил комарик, и вся закрывалась в себя. Ну же, ты можешь сказать это. Скажи па-па. Скажи лод-ка. А как насчет ма-мы? И они вместе поворачивались в твою сторону. Скажи ре-ка. Скажи плы-ву.

По утрам она будила тебя своим плачем, и ты каждый раз медлила дольше, чем могла бы, слушая ее надрывные вопли и глядя, как она тянет вверх свои ручки. Чарли брал ее на руки, терся лицом о ее животик. Поднимал взгляд на тебя. Укоризненный взгляд. Как и у нее. Он не понимал. Он любил ее с такой легкостью. Но когда она брала твой палец своими ручонками и сжимала с такой удивительной силой, ты не представляла, как сможешь выносить это.

Вам с Чарли понадобилось почти пять месяцев, чтобы выбрать имя. В ту неделю он называл ее, как только ему говорила фантазия, именами птиц, виденных им на реке — цапля, курочка, уточка, — или словами, которые нравились ему по звучанию. Неделю он звал ее Тиша, и она взглядывала на него с любопытством. Однажды он назвал ее Гретель — и это имя пристало к ней. Ты тихо называла ее этим именем, чтобы увидеть, делало ли это ее твоей, а она смотрела на тебя внимательно, хмуря лобик.

Существо, возникшее из твоего желания, было на лодке. Ты слабо представляла его форму и размеры, только чуяла запах, которого раньше не было. Иногда, сидя с дочкой, ты поднимала взгляд и видела, как она деревенеет, как по ее плечикам пробегает судорога, а ее взгляд фокусируется на чем-то за твоим плечом, и ложка застывает на полпути ко рту. Или, гуляя с ней по берегу, ты замечала, как она пристально смотрит на лодку, выпятив губку и елозя ручками по мокрым штанишкам. Словно она чуяла и видела его.

Как-то раз ты увидела, как она сидит на полу перед спальней и закатывает стеклянные шарики в темный дверной проем, один за другим.

Кто дал ей шарики? Я их ей не давала.

Бога ради. Чарли подхватил дочку на руки и прижался лицом к ее щечкам. Я дал их ей. Что с тобой такое?

Ты хотела сказать ему, что такое — что ты загадала желание, и оно осуществилось. Ты знала это без всяких сомнений или вопросов.

Чарли не понимал, не мог понять. Вечером он уселся, уставший, напротив тебя за столом и сказал, что это твой Бонак.

Ты посмотрела на него. О чем это ты? Ты, кроме прочего, сердилась на него; он доводил тебя до белого каления. Как он допустил такое?

Твой страх. Что бы ты там ни думала, что знаешь. Это не реально. Этого на самом деле нет. Это абракадабра, наговор, тень. Это Бонак.

Ты не поверила ему, но кивнула. И взяла за руку. Ты коснулась его впервые за несколько недель. Ты прав. Да. Ты прав. Ты рассмеялась на это нелепое слово. Это Бонак, и ничего больше. Ты позволила ему отвести тебя в спальню, снова вовлечь в свою орбиту, вращаться друг вокруг друга.

Однажды ночью ты не могла заснуть из-за шума поезда. Ты взяла дочку и посадила себе на колени, она не возражала. Ты вышла с ней из лодки и пошла по дорожке, прихваченной морозом.

Внутри тебя были камни, булыжники. Если бы ты упала в воду, то пошла бы ко дну. В небе висел полумесяц, точно корж, дававший достаточно света, чтобы видеть пузатые фабрики, городок на вершине холма и лицо дочери, смотревшей на тебя. Лежи тихо, сказала ты. Она как будто тяжелела с каждым твоим шагом.

В конце тропы, сразу за мостом, поднимавшимся к дороге, валялся мусорный бак, забава пьяных подростков. Ты вытащила остатки мусора и сказала дочери поднять ручки, чтобы надеть на нее джемпер. Она прикрыла лицо ладошкой и посмотрела на тебя сквозь пальцы, как иногда делал Чарли, когда играл.

Лежи тихо, сказала ты. И положила ее в бак; очистила апельсин и дала ей, и стала рассказывать загадки Чарли, пока она не уснула.

Ты пошла по тропе, все дальше и дальше. Стало темнее прежнего, и было уже не видно ни фабрик, ни тины на воде, ни однотипных фасадов домов. Ты шла, пока не показался первый свет, очертив угловатые крыши домов, разлившись по маслянистой воде, прорисовав железнодорожный мост. Ты все шла и шла. Ты вышла за пределы городка и продолжала идти, пока не натерла мозоли. Осознание того, что ты наделала, прихо-

дило к тебе постепенно еще в течение пары дней. Ты едва ли считала себя человеком, способным на что-то подобное. Ты представляла себе ее маленькие ручки и вдумчивое личико, повернутое к тебе; ножки калачиком, подтянутые к груди. Ты бросила ее. Ты бросила своего ребенка.

Шел 1983 год, и два человека пробыли в космосе 211 дней, дольше, чем кто-либо до них. Ты понимала, что они чувствовали. Ты опять стала снимать комнату в общежитии. Работала пару дней в неделю разнорабочей в бакалейном магазине, укладывая продукты в чужие сумки. И говорила себе и всем, кто спрашивал, что ты не скучала по нему, по этому лодочнику с руками в опилках, который научил тебя, как курить и готовить. Ты по нему не скучала. Не скучала, только вдруг затосковала.

К твоему удивлению — после всего случившегося, — жизнь на суше не принесла тебе душевного покоя. Тебя все раздражало: бетонные фундаменты и столбы заборов, тротуары и автостоянки. Тебя тревожили лестницы, подвалы, коридоры. Ты стала просыпаться среди ночи в поту, чувствуя, как комната качается, словно на волнах, а твои ступни леденеют, как от речной воды. Ты стала околачиваться по судоремонтным

мастерским, оглядывая с вожделением сияющие яхты, оснащенные кухонными плитами с четырехкамерными духовками и кроватями, выкладывавшимися из стен. Ты не могла позволить себе чего-то подобного. И не знала никого, кто мог бы. Тем не менее ты напряглась и смогла купить корыто из задних рядов, которое вскоре собирались пустить на дрова.

Ты заплыла на нем так далеко, как только смогла, пока не сгорел мотор. Место, где ты пристала к берегу, тебе понравилось. Течение в реке было сильным, и ты смотрела, как мимо тебя проносится всякий мусор. Вдоль берега тянулась илистая полоса, и ты представляла — дальше этого у тебя не зашло, — как засадишь ее овощами. Дальше стояли деревья. И никаких людей поблизости.

В какой-то момент ты снова сошлась с мужчиной. С каким-нибудь лодочником, причалившим к берегу по пути куда-то еще и переспавшим с тобой. Тебе было не важно, кем он был. Ты никогда не озадачивалась чем-то подобным. Просто возник какой-то мужчина, а через какое-то время возникла я. Поначалу я была не более чем тенью мысли для тебя.

К тому времени, как ты поняла, что беременна, было уже слишком поздно что-то с этим делать.

Ты не спала ночами и думала в предрассветные часы, как будешь жить, когда появится младенец, учитывая, как ты обошлась со своим прежним ребенком. Это будет, решила ты, епитимья. Ты считала свою жизнь будничным адом, клином в колесе времен, не дававшим тебе вырваться на свободу.

Я родилась весной. В моем сознании эта весна ничем не отличается от любой другой, прожитой мной на реке. Ночи были холодными, но рассветало с каждым днем все раньше; землю усеивали новые вероятности, будущие возможности. Ты готовила, закатав рукава. Ты выкрикивала мое имя, и оно отзывалось эхом прошлого, задевая за душу, испачканное младенческой кровью. Поношенное имя, которое будет всегда напоминать тебе о ком-то другом. Гретель, звала ты меня. Гретель.

Ты привешивала меня себе на грудь, обматывала волосами шею, как шарфом, и отскребала ржавчину и грязь, пока твои руки не загрубели, как кора сосен, росших вблизи берега. Ты не заботилась о ремонте мотора, но чинила сломавшиеся дверцы и окошко люка в крыше. Там были только ты и я. Я была не такой, как твоя первая дочь. День за днем ты отмечала это. Я указывала на

все, что видела. Дерево, говорила я. Дерево. Лодка. Вода. Я побежала, едва научившись ходить. Мне нравилось говорить и записывать слова. Я читала любую книжку, которую тебе случалось раздобыть. Когда ты нашла старую игру «Скраббл», я сидела часами, составляя по клеточкам все более и более длинные слова. Ты дала мне моток проволоки для игры и не успела оглянуться, как я уже скрутила какую-то замысловатую штуковину, ветряной колокольчик, певший на ветру.

Временами ты думала о своей первой, брошенной дочери. Считала ее дни рождения. Пыталась не позабыть ее. Так же, как она потом будет вспоминать свою прошлую жизнь. Только с каждым часом это становилось все сложнее. Ее образ незаметно размывался, и настал такой день, когда ты проснулась и не смогла вспомнить, как выглядело ее лицо. Дни проходили за днями, складываясь в годы. Память имеет свойство стирать все, без чего мы можем обойтись. Ты стояла на крыше лодки; ты сделала самокрутку и засунула в рот, но не стала закуривать. Снова пришла зима. И река неумолчно бурлила.

Река

Сара, Маркус и Гретель дежурили всю ночь по очереди. Было невозможно не видеть Бонака в каждой коряге, плывшей по течению, в воде, хлеставшей через дамбу и бежавшей по обеим сторонам лодки. Он извивался на мелководье, пробирался через густые заросли по краям шлюза, карабкался по валунам, выступавшим из воды. Он приближался к ним, думал Маркус, как что-то, о чем они почти забыли. Что-то, о чем им следовало помнить. Маркус думал о руках Сары, о линиях на ее ладонях, красных от горячей воды, о том, как его кожа белела под нажимом пальцев. Он думал о своих родителях, которые — хотя он не мог об этом знать — все еще искали его, переклеивали объявления с его фотографией после ливней, не спали ночами. Он думал о том, что ему напророчила Фиона. Когда пришла очередь Сары дежурить, он завалился спать в ворохе одеял. Через его сны плыл Бонак, почти не двигаясь. На нем верхом сидела Сара, сжимая голые колени. Когда они выплыли к берегу, Сара взяла Бонака себе на плечи и пошла по камням. Рот Бонака был открыт, и внутри была спрятана правда, которую Маркус еще не нашел, но которую должен был

знать. Он погрузил руки в его рот, и челюсти Бонака сомкнулись, как капкан, на его запястьях.

Маркус клевал носом на посту, ходил по лодке взад-вперед, разгоняя сонливость, хлестал себя по щекам до боли, кусал язык. Туман вокруг деревьев рассеялся. Он зашел в кабину, чтобы поесть хлеба, и Сара с Гретель оборвали разговор и взглянули на него как на чужака. Он быстро съел хлеб и вернулся на холодную крышу. Боль между ног прошла, как будто ее там и не было. Ему казалось, что кровь так медленно течет по его телу, что едва доходит до пальцев рук и ног. Он смотрел, как светлеет небо. Он стал представлять, что он будет делать, когда они найдут Бонака, куда он отправится. Будет еще одно путешествие, еще одна долгая прогулка. Он думал, что не будет против этого.

Раздался звук захлопнувшейся дверцы клетки. Он подождал, пока из лодки выйдет Сара, но она не появлялась — не слышала, решил он. Наверное, она спала. Они обе. Он не хотел, чтобы она выходила. Он хотел, чтобы она была в безопасности. Он подошел к краю крыши, всматриваясь в клетку. Ничего не рассмотрел. Свесился с края, встав ногами на желоб, опоясывавший лодку. Он прыгнет в воду; он доплывет до берега и по-

смотрит, что в клетке. Он сделает это ради нее. Он сделает это потому, что оставил своих родителей и уже начинал сомневаться, что поступил правильно. Он опустился так низко к воде, что стал чувствовать ледяные брызги, и его лодыжки запульсировали вместе с рекой. Он спрыгнул. Холодная вода сомкнулась над его головой, затекла в рот. Он быстро перестал понимать, с какой стороны воздух, с какой стороны он попал сюда. Когда он поднялся над водой, течение уже отнесло его на значительное расстояние, и клетка была не перед ним, а позади него.

Он упорно боролся с напором воды, хромая нога не слушалась его, усложняя задачу. То и дело что-то проносилось мимо него, но это всегда были только листья, желтая пена, пластиковые пакеты, цеплявшиеся за ноги и уносившиеся дальше. Вода была ледяной. На него наскочила ветка и потянула за собой. Вслед за ней показалась коряга, так похожая на Бонака, что он нырнул, раскинув руки. У воды был вкус грязи, мазута и дрожжей. Он почувствовал рядом с собой Фиону, ее длинные, вьющиеся волосы. Она могла управлять погодой, печь пироги, которые никто не хотел есть, предсказывать, что должно случиться. Она лежала на дне реки и пила воду, пока не выпила

всю. Ты убьешь своего отца, сказала она, переведя дыхание. Ты переспишь со своей матерью.

Он выплыл на поверхность, молотя ногами по воде. Берег был уже близко, и он стал задевать ногами землю. На него навалилось ощущение содеянного. Он ушел из дома, чтобы не сделать того, что предсказала ему Фиона. Внезапно его ладони стало распирать, и он не мог сомкнуть пальцы. Их распирало от тела мертвеца, которое он сбросил в воду; их распирало от плоти Сары, ее лица и ног.

На воздухе было еще холодней, чем в воде. Одежда на нем отяжелела. Туман скрывал подножия деревьев, и сосны словно вздымались из воздуха. Прибрежные валуны были скользкими, он задел щекой о жесткий тростник и увидел, как вода за ним тут же окрасилась красным. Гретель могла бы сказать ему слово, обозначавшее знание правды о чем-то, когда было уже слишком поздно; он знал только то, что он должен был снять ботинки перед тем, как прыгнуть в воду. Он стянул один, и из него вылилась вода. Он чувствовал все нервы в своих челюстях, натянутые словно веревка между деревьями. Он убил Чарли. Он переспал с Сарой.

Он пошел вдоль берега к клетке. Она стояла

близко к воде, и он обошел ее сзади. Зубы стучали у него во рту. В клетке было тихо, и он подумал, не ошибся ли он. Он опустился на четвереньки и приблизился к ней. Клетка была прямо перед ним, укрытая листвой для маскировки. Какие-то птицы протяжно перекликались с верхушек деревьев. Он сдвинул перепутанные ветви. Он был готов ко встрече с этим нечто. Он не мог вообразить, что сейчас будет; зверь вырвется из клетки и бросится на него.

Только клетка была пуста. Дверца захлопнулась сама собой. Он обошел кругом и привалился к дверце, пытаясь приподнять ее и вернуть в исходное положение. Прямо за ним шумела река. Его ноги разъезжались по вязкой грязи. Он обхватил край дверцы, потянул сильнее и почувствовал, как она начинает подниматься.

Раздался какой-то звук с лодки. Когда он поднял взгляд, баркас стоял вдоль по течению и, казалось, был готов сорваться с места, а швартовы были натянуты у него под ногами. На крыше показалась Сара, она смотрела на него. Он не мог различить ее лица в тусклом свете. Ее фигурка была точно лезвие во тьме.

Дверца выскользнула у него из рук и снова захлопнулась. Он поднял ее и повернулся, пытаясь

лучше рассмотреть Сару и, может быть, что-то сказать ей. Что он мог сказать? Прямо перед ним бежала река, стремительно и свободно. Берег был неровным, испещренным ямами. Грязь засасывала его ноги, и он споткнулся и повалился в воду. Он со всего размаху бухнулся в бегущую реку.

Течение сразу его подхватило и понесло его вдаль от берега и ловушки. Вода была на вкус как ее похоть; пальцы во рту по самые костяшки. Он закрыл глаза, но когда открыл, ничего не изменилось. Он брыкался, пытаясь выплыть на поверхность. Он ждал, что она приплывет за ним. Она видела, как он упал. Она придет к нему. Воздух перешел из ее легких в его, ее холодный рот прижался к его холодному рту. Она спасет его, потому что она его мать. Он рванулся вверх, не чувствуя одной ноги, и почти выплыл. Только там, где он ожидал вдохнуть воздуха, опять оказалась вода. Из него вышли пузырьки и затерялись в высоте. Он широко раскрыл глаза, ища белой вспышки ее тела, входящего в воду. Речной мусор, несшийся в воде многие мили, подхватил его под ребра и понес за собой. Что-то ударило его по лицу, и его охватила слепящая боль перед тем, как все поглотил холод. Тьма принесла ему покой. Он ощущал ее на ощупь. Она все никак не

приходила. Он продолжал ее ждать. Река затягивала его вниз, все глубже и глубже.

Течение быстро подхватило его на руки и понесло вдаль от этого места под соснами. Река называлась Айсис, и ей не первый раз случалось нести чье-то тело, по всему пути до Темзы и дальше, до самого моря. Вода была полна талого снега и дождя, и река несла его быстро, поворачивая во все стороны, то лицом вниз, то вверх, к свету над мозаичной поверхностью воды. Через города и дамбы с застрявшими деревьями, и дальше. И кто-нибудь мог бы найти его. Рыбаки, сидящие на холоде в ожидании клева. Или пригородные рабочие, остановившиеся на тихом мосту покурить. Кто угодно мог бы найти его, вытащить из воды и вызвать полицию, которая бы в итоге разыскала Роджера и Лору, много лет ожидавших подобного звонка, и им бы пришлось идти в морг на опознание, как пришлось однажды мне. И после этого вся их жизнь стала бы другой или не стала.

Только никто его не нашел. Река унесла его так далеко, как ей захотелось, и сама похоронила его.

Охота

Я сидела с тобой у костра, на берегу реки.

Я хочу есть, сказала ты.

Меня тревожит воспоминание. Воспоминание о том, как мы ели с Фионой, вторглось в мою голову, словно незнакомка, подошедшая к кухонному окну и стучащая о стекло.

Ты меня слышала? Я хочу есть.

Мы скоро пойдем, сказала я. Ты хочешь? У меня коттедж на холме. Думаю, тебе там понравится.

Ты посмотрела на меня как на ненормальную. Мы не можем оставить его, сказала ты. Не можем оставить здесь одного.

Я оставила тебя у костра и пошла к деревьям. Я чувствовала запах китайской еды, слышала, как вилка Фионы выскребает тарелки, как шеф на кухне спорит с кем-то по телефону. Рассказав почти всю историю, Фиона сделала паузу и откинулась на спинку стула, уперев кулаки в ребра. Она смотрела на меня. Лучше пусть это отомрет. Пусть это здесь отомрет. Но я только сидела и ждала, пока она не пожала плечами, качнулась вперед и начала мне рассказывать, что случилось в ночь дня рождения Роджера. О запахе свечей на торте, который попыталась испечь Фиона, но

тесто не поднялось. Фаршированные блинчики, заказанные с доставкой, оказались недостаточно хрустящими. Все были немного пьяны, в мусорной корзине стояли пустые винные бутылки, в холодильнике лежали неровно отрезанные кусочки сыра. Я увидела Марго у раковины, спиной к столу. Она надела желтые резиновые перчатки, а ее длинные волосы были подвязаны, чтобы не касаться ее нежного, милого лица. У нее были твои глаза. Разумеется. У нее были мои глаза. Фиона подошла к ней сзади и стала говорить. Она сказала: ты убьешь своего отца. Ты переспишь со своей матерью.

Я скрючилась под соснами и погрузила руки в сосновые иголки. Язык в горле раздулся, и я напрасно попыталась позвать тебя. Я чувствовала, как слова сыплются из меня так же легко, как они сыпались из тебя. Я могла представить Марго в кухне этого дома. Она смотрела через плечо Фионы на меня. Она была призраком. Я чувствовала ее призрачные ладони на своем лице и руках. Она считала, что ее родителями были Роджер и Лора, и ушла из дома, чтобы обезопасить их. Я чувствовала ее дыхание у себя во рту, ее кулак, шевелящийся в моей открытой ладони. Только они не были ее родителями. Я опустила голову

на землю. Я слышала, как ты бормочешь что-то у костра, иногда замолкая, словно прислушиваясь, иногда смеясь незнакомым мне смехом. Тошнота прошла, как слоистый туман на берегу. От земли исходил влажный запах грибного перегноя. Прижавшись к земле ладонями, я отчетливо почувствовала этот рыхлый дерн из насекомых и растущих корней. Я выпрямила спину. Из-за зарослей тебя было не слышно. Мне нужно было отвезти тебя в коттедж, где имелась еда, и вода, и постель. Мне нужно было решить, как быть с тобой и как быть с собой. Я встала и повернулась. Между тонкими соснами возник какой-то силуэт. Я подняла руку, заслоняя глаза от света, и в этот момент оно бросилось в мою сторону, стремительно приближаясь по ровной земле, перебирая мясистыми ногами, подняв голову и поводя хвостом. Я попятилась и чуть не споткнулась. Зверь приближался неумолимо, и я знала, что он намерен убить меня, чтобы ты и дальше оставалась на реке, и тогда — словно из ниоткуда — возникла ты, размахивая лопатой над головой, крича какой-то боевой клич, и бросилась на Бонака — ведь это был именно Бонак, — отчего тот в последний момент поменял направление и бросился наутек между деревьями. А ты понеслась

за ним и скрылась из вида.

Я побежала за тобой. Мне показалось, что стало холоднее — как было той зимой — и земля затвердела под моими ботинками. Я подумала, что вижу Маркуса, мелькающего за деревьями. Я потеряла тебя. Я бежала, пока не наскочила на проволочную ограду, за которой тянулись рельсы, уходившие в подземный туннель, и тогда я вернулась к прибрежным зарослям. Тебя там не было. У меня в голове не укладывалось, как ты могла так быстро бегать. Я снова углубилась в деревья. Все звала тебя и звала. И мне казалось, что я слышу ответное эхо. Сосны отступили, а за ними и земля. Я услышала реку раньше, чем увидела. Ты стояла у самой воды, склонившись над чем-то, так что мне было не видно твоего лица. Земля вокруг тебя была влажной, а вода имела ржавый цвет. Я почувствовала, как мои ноги подкашиваются. Рядом с тобой лежала лопата, которой я взломала дверь лодки. Металл был залит кровью. Река стала безопасной впервые за многие десятилетия. Я подумала, что он, наверное, не дрался, что он — после всех этих лет — считал тебя своей. А ты сделала это ради меня. Я подошла к воде. Ты отделяла грубую, чешуйчатую шкуру от плоти, освежевывая тушу. Лапы зверя были короткими

и крепкими, когтистыми; пасть была длинной и зубастой, а хвост погружался в мутную воду. Все его тело было крепким и грубым, не считая брюха, белесого как взбитые сливки. Ты засунула руки в своего Бонака по локти. Я смотрела на тебя, и на миг мне померещилось, что ты превращаешься в него. Как будто ты и была Бонаком все это время.

У меня ушло немало времени, чтобы выкопать яму. Руки ослабели от бумажной работы, сердце сильно колотилось. Ты содрала шкуру и отмывала ее в реке, соскребая останки, как мы делали с костями, которые покупали у торговки мясом. Когда я резала тушу, погружая нож в органы, кровь и мышцы, меня поражала плотность тканей. Я выкопала яму. Начали опускаться летние сумерки, постепенно, незаметно. Пропела гагара, и ты отозвалась ей с берега. Я разжигала костер, пока он не взвился в небо. Лес как будто отдавал мне все свое тепло, накопленное для меня за долгие годы. Огонь поднимался выше моей головы. Ты подошла и присела рядом, протянув руки к огню, отогреваясь. Шкуру Бонака ты набросила себе на плечи, его морда лежала на твоей голове, а конечности были обернуты вокруг тела. Ты выглядела точно гибрид, с твоими заскорузлыми коленками и пучками белых волос, торчавшими

из-под приоткрытых челюстей Бонака, напоминая какой-то странный мех. Я срезала куски мяса с костей и коптила над огнем, глядя, как они темнеют. Мы по очереди брали в руки каждый орган и взвешивали его с тем же изумлением, с каким когда-то читали энциклопедию. Мозг был маленьким, голубоватым; легкие были огромными; печень была больше сердца, а сердце было таким крепким, что я не могла проткнуть его. Я засунула его под пепел в середине костра.

Мы ели руками. Это напомнило мне пиршества, которые у нас бывали на лодке, когда появлялась торговка мясом или кто-нибудь мимоходом делился с нами едой, соленьями, сладким перцем, хлебом и козьим сыром. Это также напомнило мне о походе в ресторан с Фионой, о том, с какой жадностью она поглощала пищу, словно возмещая значительность истории, которую рассказывала мне. В пище было ликование, а еще оправдание и прощение. Мясо было с душком дичи, слегка напоминая рыбу, которую мы ели из реки. По моим запястьям текла кровь. Темнота сгущалась. Я поворошила огонь, вспыхнувший с новой силой. И раскопала веткой сердце.

Восемь
Истоки

Коттедж

Твои угловатые очертания в кресле, голова откинута назад, руки лежат на подлокотниках. За окном барабанит дождь, заливая поле. Ты ешь только апельсины, которые я чищу тебя десятками. Когда я приношу тебе стаканы воды, ты выливаешь ее на пол. Твоим ртом говорит Маркус или я. Я вижу, как ты идешь по узкой тропе вдоль канала, с ребенком в руках, не со мной, но с моим именем. Сквозь окошко лодки я вижу, как тела в воде сбиваются вместе, словно монеты, все больше и больше. Пол гостиной становится ребристым, как река, а под водой плывут тела — мое или Маркуса, — вращаясь в потоке, уносящем их все дальше.

Я так зла на тебя, что почти ничего не вижу. Я беснуюсь, а ты сидишь тихо или беснуешься со мной, хлопая кухонной дверью, сбрасывая вещи со стола. Я перебираю в уме все способы, какими могу наказать тебя. Морить голодом, не давать

спать, просто открыть дверь и позволить тебе убираться на все четыре стороны. Когда ты плачешь, ты обвиваешь мою шею руками и виснешь на мне. Ты сама не своя. Ты уже не тот человек, который натворил все это. Ты уже не помнишь того языка, который сделал тебя тем человеком. Ты вжимаешься своим морщинистым лицом в мое, твои руки шарят по моей одежде, стремясь притянуть меня еще ближе. Когда ты хлопаешь в ладоши, ты словно открываешь люк на крышу, и в мою темную гостиную проникает свет.

Иногда по утрам я проникаюсь холодной уверенностью, что для тебя подойдет только какая-нибудь древняя казнь: побить камнями, ослепить или бросить в лесу на съедение волкам. Ты говоришь мне, что ты ведь не знала, и мы обе замолкаем, задумываясь, верит ли в это на самом деле хоть одна из нас. Я вновь и вновь возвращаюсь к мысли о том, что наши мысли и действия предопределяются языком, живущим у нас в голове. Что, вероятно, ничто не могло случиться иначе, нежели оно случилось. Уекивать, обхекивать, гарпилябия, вынос, мешанина, Бонак. Бонак, Бонак, Бонак. Эти слова — как хлеб,

который мы отпускаем по водам[25]. Словно *Бонак* все это время означал не то, чего мы боялись, не то, что было в воде, а предостережение; то, что плывет к нам по реке.

Прошло больше месяца с тех пор, как я привезла тебя. Мы приходим к патовой ситуации и совсем перестаем разговаривать. Обходим друг друга по четким границам своих территорий: гостиная твоя, я беру себе спальню и кухню; ванная остается за тобой. Разговор означал бы, что нам есть что обсуждать, а мы не станем этого делать. Обсуждать твои действия. Все, случившееся между тобой и Марго. Я готовлю рыбные палочки и оставляю их у твоего кресла, пока ты в ванной. Потом я нахожу недоеденный шоколадный батончик на своей подушке. В другой день ты перебила все миски в буфете, и я выхожу под дождь и еду автобусом в город и брожу там по магазинам. Жду в дверях, пока утихнет ливень. Оказываюсь в том супермаркете, в который мы зашли в тот раз. Во мне растет уверенность, что, придя домой, я обнаружу, что ты ушла, и я не знаю, что буду чувствовать по этому поводу. Только ты никуда не ушла. Куда тебе уходить?

---

[25] Примечания: 25

Екклесиаст, 11:1. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».

Я готовлю тебе обед. Ты забыла о нашей ссоре и трогаешь меня за волосы и руки, и говоришь, что тебе нравится дождь. *Тебе тоже?*

На следующий день я вижу, как слова уходят от тебя. Местоимения коварны и не стоят на месте; названия вещей забываются в первую очередь, так что ты просто тычешь на что-нибудь или кричишь, пока я не принесу тебе это. Имена давно забыты. Иногда ты говоришь о детях, которые были у тебя когда-то, а когда я спрашиваю, как их звали, ты не можешь или не хочешь ответить. Мы играем в настольные игры — лишь бы чем-то заполнить время, — и ты проявляешь такую поразительную сосредоточенность, что мне больно смотреть на тебя. Лево и право, верх и низ. Как это называется? Сколько сейчас времени? Какой сейчас год? Я жду, пока истории выйдут из тебя. Так будет для них лучше всего. Все, о чем ты рассказала мне. Но тебе никак не удается избавиться от них, они выходят из тебя все снова и снова, и ты зажимаешь рот руками, пытаешься удержать их. Дом наполняется твоими историями. Я вижу холодное лицо Маркуса в окнах, залитых дождем, он смотрит на меня из зеркала, когда я чищу зубы, он стоит за твоим креслом. Бонак тоже здесь, громыхает где-то поверху, над нашими головами,

или отмокает в ванной. То и дело я вижу его с твоими глазами или с длинными ступнями вместо хвоста. То и дело я вижу его в шерсти вместо чешуи, или прямоходящим, или в виде тени, едва различимой. В углу гостиной бурлит река, размывая плитки на полу. Сквозь влажную штукатурку прорываются корни деревьев, завиваясь вокруг нас. Я слышу — в ночи — звук поезда. Вижу, как на волнах качаются лодки с плоскими кабинами, и на одной из них человек вырезает блесну, такую большую, что на нее можно поймать то, чего мы боимся. Чего бы мы ни боялись.

Не надо, говорю я тебе, когда ты начинаешь говорить. Тебе уже это не нужно.

Но эти истории выходят из тебя непроизвольно, даже когда я добавляю снотворное в твой чай и пытаюсь отвлечь тебя старыми черно-белыми фильмами на своем ноутбуке или рассказываю тебе об истории лексикографии или раскладываю для тебя пазлы на полу. Твой рот никак не закрывается — и я слышу эти истории снова и снова.

На следующий день, когда я спускаюсь вниз, ты отключила холодильник и выложила все продукты — из морозилки и со всех полок — на пол. Для начала я спокойна. Мы играем в игру «собери все обратно»: разбросанные рыбные палочки, соевые

сосиски, фаршированные блинчики и шарики шпината. Я говорю тебе, что мы устроим пир, как в старые дни, и ты улыбаешься и идешь за мной по пятам к плите, а когда я включаю духовку, помогаешь расстелить фольгу. Я вдруг изумляюсь на простоту всего этого и говорю тебе, что мы испечем хлеб для пудинга. Я иду к буфету, чтобы достать все необходимое, а когда оборачиваюсь, вижу, что ты засунула руки по локоть в горячую духовку. Я вскрикиваю, и ты откатываешься от плиты ко мне. Кожа на твоих руках покраснела, и на костяшках вздулись волдыри. Я подтаскиваю тебя к раковине и включаю холодную воду. Ты не издаешь ни звука.

Что ты делала? О чем ты думала? Я понимаю, что кричу на тебя, схватив твои обожженные руки, а ты уставилась на меня с открытым ртом. Я отпускаю тебя, и ты поспешно удаляешься в гостиную. Я выключаю духовку, поднимаюсь наверх и ложусь на кровать, слыша перестук дождя, и закрываю глаза. Когда я спускаюсь вниз, ты уже забыла о случившемся и стоишь над моим столом, глядя на карточки для заметок, словно с увлечением решая какую-то задачу. Я нахожу в ванной крем и мажу твои ожоги. Ты смотришь на это так пристально, что я прочищаю горло и

начинаю болтать о чем попало, лишь бы отвлечь тебя.

Это я сама так? — говоришь ты.

Сама. Но это не важно.

После случая с духовкой ты продолжаешь заниматься членовредительством. Поначалу это — казалось бы — происходит случайно, просто вследствие твоей умственной болезни. Ты ковыряешь заживающие ожоги, пока из них не пойдет кровь, набираешь себе ванну и забываешь включить холодную воду, соскальзываешь с лестницы и падаешь коленкой на плиточный пол. Ты снова и снова подходишь к духовке и пытаешься включить гриль и засунуть руки внутрь.

Что ты делаешь?

Проверяю, нагрелась ли.

Я прошу тебя, не надо.

У тебя возникает нездоровый интерес к ножам, лежащим в выдвижном ящике, острым краям столов, электророзеткам и тостеру. Я убираю в подвал все, чем, как мне кажется, ты можешь причинить себе вред, и ты начинаешь выискивать все эти вещи, как раньше выискивала алкоголь. Ты забываешь названия вещей, но ты знаешь, что ищешь, ты что-то бубнишь и замахиваешься на меня, ужасно злая и разобиженная.

Ты перестаешь есть.

Я не догадываюсь, что может быть опасным для тебя, пока не отлучаюсь в ванную, а когда спускаюсь на кухню, вижу, что ты засунула голову в раковину, полную холодной воды, и пускаешь пузыри, вцепившись руками в края столешницы. Я вытаскиваю тебя.

Что ты творишь? Что ты творишь?

Ты молчишь, только буравишь меня хмурым взглядом. Я оборачиваю твою голову кухонным полотенцем и растираю намеренно грубо, так что ты вывертываешься с красными глазами и влажными волосами и смотришь на меня.

Я хотела бы, говоришь ты с самым сознательным видом за многие дни, забыть это.

Я убираю таблетки из аптечки, отбеливатель из-под раковины, спички, лезвия, ножницы, стеклянную посуду. Я отключаю электричество и воду. Подвал не закрывается на ключ, так что я с твоей помощью перетаскиваю все это в мусорный бак в конце дорожки. Ты отказываешься надевать капюшон; дождь льется по твоим волосам и лицу. Я не могу понять по твоему взгляду, понимаешь ли ты, зачем я это делаю.

Ты все равно это забудешь, говорю я тебе. Хотя я в этом не уверена. Мое имя, как и свое, названия

вещей в доме, числа, дни недели, свет и темноту, ночь и день — все это, в тот или иной момент, ты, похоже, забываешь. Но историю Марго и историю человека, который был ее отцом, историю Бонака и того, откуда он взялся, — ничего из этого ты не забываешь ни на миг.

Мы идем обратно через холм. Наши ноги забрызганы грязью. Я беру тебя за руку, и ты не вырываешься.

Дни ужаса. Я ловлю тебя у лестничного пролета, готовую броситься вниз. Не даю тебе вскрыть запястья любым острым предметом. Все это ты проделываешь с самым спокойным видом. С какой-то безмятежностью, больше всего пугающей меня. Всякий раз, как я ловлю тебя, ты испытываешь тихую досаду. Ты называешь меня по имени и позволяешь увести себя, не сопротивляясь. Ты как будто понимаешь больше; понимаешь, где ты и как сюда попала. Ты выдаешь мне обрывки и осколки прошлого снова и снова, словно эхо. Хватит, говорю я тебе, но ты, похоже, не в силах остановиться. Я не сплю, потому что ты ждешь, пока я засну, и забираешься по лестнице, подходишь к окнам и пробуешь открыть их. Я думаю о том, чтобы позвать кого-то, но в этом было бы какое-то предательство. Ты бы никого не позвала

на помощь. Я привязываю тебя к себе длинной веревкой, и мы повсюду ходим вместе. Я заставляю тебя есть. Ты воешь, потом успокаиваешься. Из тебя сыплются слова. Ты говоришь словно чужими фразами, полными значения. Ты говоришь, что ты — начало всего произошедшего. Говоришь, что твоя кровь — это общий корень и что ты хочешь все забыть. Я не знаю, что отвечать на такое.

Дождь усиливается. Дорога у подножия холма залита, и в телефонной трубке мертвая тишина. Из окна нам видно, что река вышла из берегов и затопила грязную землю на глубину, пожалуй, не меньше той старой реки, где я нашла тебя. Ты съела что-то не то, и тебе плохо. Я отвожу твои жидкие волосы с влажного лица. Дождь хлещет по крыше и по холму. Мы засыпаем на полу. Мне снится, что тебя нет, а я в другом доме. Там другие люди, у них серые блестящие лица, словно тюленья кожа, и я никого не узнаю. В этом сне я не находила тебя и вообще не знала, я жила без матери, тихой, скромной жизнью. В этом сне я не знала ничего, кроме будней: как мыть посуду или разглаживать складки на одежде, как водить машину и отправлять бумажные письма. Я спала по ночам, а по выходным завтракала в гостях или

садилась в машину — свою, не арендованную — и отправлялась на прогулку. И еще там была собака, похожая на Цивету, которая могла плавать под водой.

Я заснула и оставила тебя одну. Дверь ванной комнаты открыта настежь. Я громко зову тебя. Я нигде тебя не нахожу. Я кричу твое имя. Я знаю, что случилось. Я бегаю по комнатам. Я звоню в «скорую», хотя еще не нашла тебя. Я говорю им адрес и вешаю трубку. Я кричу и ищу тебя, и нигде не нахожу. Я выбегаю из дома. Дождь кончился, солнце светит на лужи, на грязный фасад дома и на твое лицо. Ты повесилась на карнизе, на простыне со своей кровати.

Я срезаю простыню. Смерть разгладила твои черты, сделав тебя похожей на камень. Я беру в ладони твое лицо, макушку, лодыжки, плечи, запястья. Я хочу — пока сижу над твоим телом — сказать что-то. Как-то закончить эту историю. Завершить то, что мы начали. Но хотя я остаюсь с тобой долгое время, никакие слова не приходят на ум. В конце концов я встаю и принимаюсь открывать двери и окна, чтобы проветрить дом.

Коттедж

Родные места возвращаются к нам. Они приходят в виде слов, потери памяти, кошмаров. Из-за них мы иногда просыпаемся, ощущая, как что-то давит на грудь, что-то животное, или мы включаем свет — и перед нами стоит кто-то, кого мы считали давно умершим, и смотрит на нас. Снова зима. По утрам в трубах гудит и гремит, а на оконных стеклах изнутри намерзает лед. Подойдя к роднику, я вижу, что он замерз. По радио сплошные автомобильные аварии и отмененные поезда. В этом году я скучаю по зимам на реке. По тишине. Когда кругом никого, кроме тебя. Я все еще жду, когда ты вернешься. Если кто-нибудь потусторонний станет преследовать меня, это будешь ты. Но дом молчит, и если ты здесь, то сохраняешь молчание. Мысль о том, что всегда будут новые зимы за зимами, непостижима. Ты мертва и забрала с собой больше десятка лет дурных чувств, трясины недопонимания, пропущенных дней рождений, все мои годы с двадцати до тридцати, за время которых тебе отрезали грудь, а меня даже не было рядом, а также Марго и все, что с ней случилось. Я часто думаю обо всех мертвецах, живущих под водой.

Я понимаю, что должна двигаться дальше. Я возвращаюсь на работу, сижу за своим столом. Делаю пробные вылазки с другими лексикографами в местный паб под названием «Лиса и гончая». Мне бы хотелось, чтобы со мной была собака. Думаю о том, чтобы взять собаку из приюта. И ничего не делаю для этого. Хороших дней у меня больше, чем плохих. Я не прошу пока о большем. В плохие дни я вспоминаю, как все на реке уходит под воду, как шлюзы выступают из водорослей, как переплетаются корни деревьев. И я знаю, что вверх по течению река сужается до ручейка, похожего на штопор; там желтоватая пена по берегам, и в зеве дамбы стоит цапля, словно ждет чего-то.

Благодарности

Примерно через год после того, как я начала писать эту книгу, мой партнер поставил мне на стол высказывание в рамке. Там были слова, которые написала я сама, хотя редко верила в них. Вот они: «Я думаю, что эта книга получится действительно охренительной. Дэйзи Джонсон». Теперь эти слова служат напоминанием того, что невозможно написать книгу в одиночку. Я бы не смогла написать ее без следующих людей:

Амели Шанарин, которая, я надеюсь, однажды прочитает эту книгу, зная, как много в ней было отредактировано, пока она дремала.

Алекс Боулер, который сказал «да» этой книге с самого начала.

Стив, Фиона и все остальные из «Грейвулфа».

Спасибо всем из издательства «Джонатан Кейп» за их ударный труд. Особенно хочу сказать спасибо Ане, Клэр, Мелхоле, Джо и Сюзанне.

Крис Уэллбилав и все остальные из литературного агентства «Эйткин Александр».

Джек Рамм, который работал и, как я подозреваю, впадал в отчаяние от этой книги почти

столько же, сколько и я.

Кроме того, я обязана всем, кто сидит напротив меня за столом: Джесси, Джессу, Лоре и Ханне.

Без них я бы ничего не написала: Сарват, Киран и Том.

Спасибо Мэтту за ту самую рамку со словами. Да будут путешествия в фургонах, всегда.

Спасибо Большому Джейку. Поллианне и Джейку. Моей бабушке.

Спасибо моим родителям, ради которых я и пишу все это.

Спасибо книжным торговцам и книжным магазинам. В частности, оксфордскому «Блэкуэллсу»[26].

И всем, кто читал мой первый сборник рассказов, «Топь»[27], и советовал его друзьям и родным. И всем, кто прочитает и — я скрещиваю пальцы — посоветует другим эту книгу.

---

[26] Примечания: 26

Первый книжный магазин Blackwell's был открыт в Оксфорде в 1879 г. В настоящее время книжная сеть Blackwell's насчитывает почти полсотни магазинов и является одной из самых известных в англоязычном мире.

[27] Примечания: 27

Fen (*англ.*), изд. Jonathan Cape, 2016 г.